

Метаполитика. Ефимов Игорь Маркович filosoff.org
Спасибо, что скачали книгу в бесплатной электронной библиотеке
<http://filosoff.org/> Приятного чтения!

Метаполитика. Ефимов Игорь Маркович

I. ПРИРОДА "Я" И ИСТОРИЯ "МЫ"

Политика – предмет страсти или предмет науки

Если бы мы жили в пещерах и хижинах, охотились на диких зверей, били острой рыбу, отыскивали съедобные корни, то, наверное, мы так же, как наши далёкие предки, молились бы своим деревянным богам о ниспослании удачной охоты, и окровавленная туша кабана, оленя, слона или моржа представлялась бы нам вершиной человеческих устремлений.

Если бы мы кочевали в степях, горах или пустынях со своими стадами, то боялись бы песчаной бури, моровой язвы, пересохших рек, засыпанных колдцевг а отсутствие всех этих бед почитали бы милостью, ниспосланной нам свыше.

Если бы наша жизнь протекала на клочке земли от урожая до урожая, мы просили бы у неба то дождя, то ведра, просили бы уберечь поле от саранчи, а виноградник от заморозка и, засыпав полный амбар, читали бы благодарственные молитвы и полагали себя счастливыми.

Но мы живем не так и молим небо не о том.

Всё самое насущное: еда, тепло, свет, вода, одежда, жилье – не даруется нам больше природой, не добывается собственным трудом. Мы все получаем из рук других людей.

И всё самое страшное тоже в девяноста девяти случаях из ста явится нам не громом небесным, но другим человеком: жандармом в каске, чиновником в галстук, солдатом в мундире (иноземном или отечественном), погромщиком с иконой, со свастикой или с красным цитатником, грабителем, натянувшим на лицо чёрный чулок, экстремистом, всходящим на борт самолёта с бомбой в портфеле. Даже известная прерогатива судьбы – болезнь – и та сейчас кажется нам перешедшей в веденье человека, врача – плохого или хорошего.

Неудивительно, что каждый из нас хотел бы жить среди людей, умеющих строить прочное и просторное жильё, шить добротную одежду, вырабатывать еду в изобилии, хотел бы, чтобы чиновники были послушны закону и человечны, солдаты – смелы с врагом, а не со своими, врачи – опыты, учителя – умны, газетчики – честны, чтобы жандармы ловили грабителей и экстремистов, а не людей, читающих книжки, и так далее.

Но мы не молимся даже об этом. Другой человек теперь значит для нас так много, мы настолько зависим от него, что забываем за ним Провидение; мы больше не заботимся о том, как нам прожить в мире с самим собой, с Богом, – нет, только с ним, с другим человеком.

Поэтому мы вообще больше не молимся – мы спорим о политике.

Как нам уживаться на земле друг с другом, как уживаться людям разных племён и народов, разного языка и цвета кожи, разных вер и традиций, разных профессий и способностей, и можно ли уживаться, или надо бороться с другими и подавлять, каким должен быть наилучший порядок совместной жизни людей, и как его можно достигнуть, и чем для него можно пожертвовать – вот конечный смысл всех вопросов, охватываемых словом политика.

Последние двести лет не слышно, чтобы кого-нибудь казнили смертью за ересь, колдовство, оскорбление святынь или еще какое безбожие. За политику же казнят нещадно – гильотинируют, вешают, расстреливают, травят газом, морят в концлагерях. Люди добровольно идут на смерть поодиночке и массами за свои политические убеждения: брат поднимается на брата, сын на отца, "пятеро в доме разделяются" во имя её, целые народы погружаются в пучины гражданских войн.

И может, именно оттого, что политика зажигает в сердце человеческом такие страсти, ей до сих пор не удалось стать объектом бесстрастного исследования. Хотя ещё Аристотель называл политику важнейшей из наук, наукой она так и не стала. Есть много политических теорий, содержащих в той или иной мере зерно истины, но каждая из них так спешит перейти от того, что есть, к тому, что должно быть, то есть к практическим рекомендациям, к описаниям идеального политического устройства и кратчайших путей достижения его, что объективности этих теорий хватает ненадолго. Поэтому всякий исследователь в наши дни вправе забыть своих предшественников и обратиться непосредственно к материалу, питающему любую политическую мысль, – к истории.

Уже в прошлом веке объём накопленного исторического знания был огромен. Сейчас же он сделался просто пугающе необъятным. История не только удлинилась на сто лет, небывало насыщенными социальными потрясениями, но и открылась в своих далёких истоках благодаря тысячам томов превосходных исследований. Многие политические мыслители прошлого века, оказавшись перед лицом новейших исторических сведений и фактов, не укладывавшихся в их

Метаполитика. Ефимов Игорь Маркович filosoff.org
теории, сами вынуждены были бы заняться пересмотром своих идей, переизданием книг.

Историческое знание выросло не только количественно, но и качественно.

Культура исторического исследования далеко обогнала культуру политического теоретизирования. Сами события прошлого устанавливаются, как правило, наукой историей с такой степенью достоверности, что перестают вызывать споры, не оставляют простора шарлатанству и демагогии. Но стоит от фактов перейти к обобщениям, стоит заговорить о причинах и движущих силах, вызвавших то или иное потрясение общества, то есть к вопросам политическим, как согласие будет нарушено и начнутся яростные дебаты, в которых спорящие откажутся понимать друг друга и добро ещё, если не дойдут до таких аргументов, как драка, стрельба или аресты оппонентов. Действительно, кто сейчас попробует отрицать, что Генрих VIII Тюдор, Иван Грозный и Сталин казнили множество преданных своих сторонников? Но спросите почему, и один скажет: потому что все трое были жестокими и подозрительными тиранами, жаждавшими крови; другой – потому что такова была в тот момент закономерность исторического процесса (а уж в её-то реестры заранее вписаны все отрубленные головы); третий – что террор начинался как раз в тот момент, когда всевластный владыка терял любимую жену – Анну Болейн, Анастасию, Аллилуеву (не ясно ли, что виной всему сублимация?); четвёртый – что вершился непостижимый Промысел и каждый из них явился батоном Божиим.

Спросите историков о знаменитых битвах – они твердо назовут вам дату и численность сражавшихся, но никакого единодушного ответа не дадут вам теоретики на вопросы:

Почему воинственные персы захватывают в несколько лет гигантскую территорию, в том числе процветающий Вавилон, а потом ломают себе шею на маленькой Греции?

Почему Испания, покорившая полмира, ничего не может поделаться со своими Нидерландскими провинциями?

Как крохотная Венецианская республика (200 тысяч граждан) решается нападать на двадцатимиллионную Турцию?

Почему Великий Новгород успешно отбивается от шведов, немцев, суздальцев, монголов, а потом терпит поражение от вдесятеро меньшего московского войска?

В чём секрет долголетия и прочности огромных многонациональных империй – Римской, Византийской, Китайской, Русской?

Почему другие империи – арабская, монгольская, испанская, английская – развалились в относительно короткий срок?

Чем объяснить небывалый расцвет культуры в Древней Греции, в средневековой Италии, в Германии XVIII века? экономический подъём Соединённых Штатов? упадок и обнищание Индии?

Цепь таких "почему" можно вытягивать до бесконечности – историки лишь пожмут плечами (их дело – точное знание, а не домыслы), теоретики же сядут писать диссертации – каждый свою. Но множество объяснений – это то же самое, что ни одного, удовлетворяться ими дальше невозможно. Ибо не игра ума на исторические темы, не "племян минувших договоров", не сами по себе древний Рим, Венеция или Новгород волнуют нас. Не абстрактная любознательность заставляет нас всматриваться в прошлое с такой жадностью, а лишь надежда найти там ответ на самые жгучие вопросы нашего настоящего и ближайшего будущего: каким образом цивилизованный народ может оказаться под властью кровавой тирании? каким, наоборот, достичь торжества законности и свободы? почему народы идут войной друг на друга? откуда берётся военное могущество одного и слабость другого? в чём источник социальной устойчивости? богатства и процветания? с чем связаны расцвет и увядание культуры?

Успехи естественных наук придали им в наши дни такой небывалый вес, что их критерии истины, их методы пытаются прилагать и к другим наукам, в том числе социальным. Если отнестись к этому переносу разумно, не впадая ни в слепое преклонение, ни в панику, можно провести следующую аналогию: данные истории могут и должны стать для политики такой же исходной реальностью, как движение твёрдых тел, жидкостей и газов для физики или свойства веществ – для химии. Физик пытается связать видимые движения тел с воздействием невидимых сил – тяжести, инерции, магнитного поля, химик – обнаруживаемые веществами свойства – с их атомно-молекулярным строением, политический же мыслитель должен будет найти связь между историческим событием и свойствами мельчайшей молекулы каждого из этих событий – индивидуальной человеческой воли.

Два основных возражения, два барьера, две опасности подстерегают нас на этом пути.

Первое: естествоиспытатель всегда может быть уверен, что, скажем, молекула кислорода будет вести себя неизменно, что при соединении с

водородом она образует воду, с кремнием – песком, с углеродом – углекислый газ, то есть никогда не вырвется из-под власти закона необходимости; политик же не может рассчитывать на такое постоянство и однородность, он знает, что в одних и тех же обстоятельствах разные люди будут вести себя по-разному, что на поле боя один побежит, другой умрёт, но не отступит, что при пожаре один кинется спасать, другой – грабить, что гонения одних заставляют изменить своей вере, других ещё больше укрепляют в ней, – короче, он знает, что воля человека свободна. Что делать с таким затруднением? Только одно – ни на минуту не забывать о нём, но зато твердо полагаться на неизменность хотя бы одного свойства человеческой воли, а именно – свободы.

Второе: естествоиспытатель заранее убеждён, что молекулы кислорода, вдыхаемые им в стенах лаборатории, и те, что движутся в потоках ветра за окном, и те, что растворены в водах озера, и те, что выделяются листьями деревьев, одни и те же, что они тождественны сами себе. Имеем ли мы право отождествлять хоть в какой-то мере себя или своего современника с гражданином Афин, с кочевником-бедуином, английским йоменом, русским крепостным, вообще с любым человеком прошлого? Но если не имеем, что поучительного или волнующего можем мы найти в истории? Не превращается ли она тогда в цепь рассказов о каких-то иных существах, о "прошло-людях", рассказов занятных, но не имеющих прямого отношения к тому, чем и как мы живём сегодня? Пусть с точки зрения строгой логики такое отождествление – всего лишь допущение, но согласимся, по крайней мере, что каждый, в ком исторические картины вызывают волнение ума и сердца, подсознательно такое допущение делает. Тем более что оно неожиданно превращает вторую опасность в преимущество. Ибо силы сцепления атомов в молекуле кислорода, как и всякие другие силы – магнитную, инерционную и так далее, мы можем представить себе лишь умозрительно, порывы же человеческой воли, в случае принятия исторического отождествления людей разных эпох, мы сможем изучать и проверять непосредственно хотя бы на самих себе.

Очевидно, здесь-то, в этих двух трудностях и кроется причина того, почему политико-историческая мысль до сих пор не сумела выработать каких-нибудь обязательных для всякого разумного сознания положений. Не имея больше возможности спорить о достоверности основных исторических фактов, она пытается компенсировать себя на том просторе, который оставлен нам сложностью и многозначностью человеческой природы. Представляется ли нам человек существом, жаждущим прежде всего власти и славы, или разрывающимся между добром и злом, или думающим лишь о том, чтобы побольше есть и поменьше работать, или "наживающим деньги животным" [74, с. 5], или вовсе исполняющим всегда не свою волю, но волю Всевышнего, каждое из этих представлений, будучи приложено к головоломной исторической мозаике, придаст ей совершенно иной смысл, другую внутреннюю связь. Точно так же создатели различных моделей идеального общества будут исходить в своих построениях из того или иного представления о подлинной сущности человека и его главных нуждах и не остановятся ни перед какими прокрустовыми приемами: Платон и Толстой откажут человеку в праве удовлетворять свою жажду прекрасного, нищезанство – в сочувствии и милосердии, марксизм – в религиозности. Тем не менее этот метод остается пока единственно возможным ключом к проблеме.

Какой представляется нам человеческая природа в своих главнейших и неизменных проявлениях – с этого неизбежно приходится начинать любое политико-историческое исследование. Начнем с того же и мы.

2. Царство "я-могу"

Человек хочет творить.

Человек хочет бездельничать.

Человек хочет власти, славы, богатства.

Человек хочет жить в мире со своей совестью.

Человек хочет любой ценой утолять голод и сладострастие.

Человек хочет достичь спасения души.

Человек хочет строить, созидать.

Человек хочет жечь города и села.

Человек хочет любить ближнего.

Человек хочет господствовать над ближним

Человек хочет...

Можно долго перечислять, чего он хочет, и погружаться всё глубже в многообразие страстей, вот уже который век питающих мировую поэзию. Однако, если всмотреться в этот хаос внимательнее, мы обнаружим, что рациональному мышлению, вечно враждующему с многообразием во всех его формах, оказывается по силам справиться с ним и здесь. Стоит лишь от объектов человеческих

Метаполитика. Ефимов Игорь Маркович filosoff.org
вожделений обратиться к самому вожделеющему субъекту, и станет ясно, что внутренний смысл любого устремления один и тот же: человек хочет расширить или сохранить царство своего "я-могу".

Поистине, за исключением физиологических потребностей – есть, пить, дышать, размножаться, – все его желания от малого до великого, от высокого до низкого, от устойчивого до мимолетного сводимы к этой предельно обобщённой формуле. Власть – "я могу повелевать тысячами людей". Богатство – "я могу купить всё на свете". Творчество – "я могу создать небывалое". Тщеславие – "я могу вызвать восхищение толпы" (или, на худой конец, соседей). Агрессивность – "я могу задавить ближнего своего". Аскетизм – "я могу задавить собственную похоть, страх, боль". Вера – "я могу сподобиться благодати Божьей и заслужить жизнь вечную". Невозможно себе представить, чтобы человек захотел чего-нибудь не смочь. Захотеть не смочь – такой оборот не идёт с языка, настолько смысл его противоестествен. И наоборот, ничего нет естественнее, чем представить себе кого-то пускающимся в жизнь, полную опасностей и лишений, без всякой видимой корысти, лишь за гордое сознание, даруемое ею, – "вот что я могу!".

Извилистая граница царства "я-могу" прочерчена не где-нибудь снаружи, а в нашей собственной памяти, в сознании (в способности представления, если пользоваться термином Канта и Шопенгауэра). Те участки, на которых граница кажется нам чёткой и непреодолимой, не вызывают у нас большого интереса. Не могу выпить море, не могу сосчитать звезды на небе, не могу пролезть в игольное ушко, не могу остановить солнце – мало ли чего я не могу. Лишь там, где граница "я-могу" представляется нам зыбкой, изменчивой, готовой поддаться напору внешних сил или наших собственных усилий, лишь там сердце наше начинает щемить то страх, то надежда. Ибо как радость, так и страдания души связаны не с чем иным, как с расширением или сужением границы царства "я-могу". Всякое расширение приносит нам радость, всякое сужение – страдание. Узник, выпущенный на волю, художник, создавший шедевр, нищий, нашедший золотой, победитель, ворвавшийся в город, спортсмен, поставивший рекорд, больной, к которому вернулось здоровье, – ликование каждого из них связано с необычайным расширением "я-могу". И наоборот, слишком резкое сужение границ – финансовый крах, бегство возлюбленной, утрата честного имени, потеря власти – может причинить такие мучения, что полный сил и здоровья человек предпочтёт скорее покончить с собой, чем терпеть их до того момента, когда боль утихнет и утрата сольется с бескрайним морем "не-могу". (Замечу мимоходом: радости в нашей жизни так быстротечны именно потому, что расширения границ может и не происходить, страдание же может длиться бесконечно долго, ибо, куда человек жив, он владеет каким-то "я-могу", следовательно, ему есть что терять.)

Все люди хотят одного и того же – расширения своего "я-могу", и нет двух характеров, абсолютно сходных между собой. Феномен такого поразительного разнообразия кроется в том, что царства "я-могу" не могут быть измерены ни в каких метафизических квадратных милях, что сравнивать между собой "ценность отдельных участков" дано лишь самому человеку, и здесь – то и открывается дарованная ему свобода выбора – "быть сыном в доме Отца своего или рабом" [Иоанн, 8:35]. Редко нам удаётся расширить царство нашего "я-могу" задаром, гораздо чаще приходится жертвовать одним ради другого. Так, деньги, это универсальное "я-могу", нужны всем, но один согласится затратить ради них свой труд и время, другой попытается добыть их попрошайничеством, третий – преступлением, четвёртый – военным насилием, пятый – спекуляциями. "Я могу сохранить честь, достоинство" для большинства служат теми туманно-расплывчатыми провинциями царства "я-могу", которыми можно пожертвовать в первую очередь за любые материальные блага, за важный пост, за покой и безопасность, даже "я-могу" загробного царства – место в раю – один попытается заслужить добродетельной жизнью и искренним покаянием, другой – покупкой индульгенции, вкладом на заупокойные молитвы.

Атлас царства "я-могу" хранится в нашем сознании, но сознание в значительной мере послушно воле и, подчиняясь её нажиму, как правило, старается ограждать нас от впечатлений чреватых душевной болью. Оно готово изодраться в подделке карт, искусственно отодвигать границы "я-могу", допускать на поверхность лишь утешительные картины – вот что ты можешь, вот чем владеешь. Прошлое окутывается туманом беспомысленности, будущее – туманом несбыточных надежд, и человек достигает маниловско-обломовского довольства без всякого расширения "я-могу". Для тех же, кто не сумел вышколить свой разум до такой степени, есть иная возможность – алкоголь, наркотик. Опьянение нарушает нормальную деятельность сознания, его зависимость от окружающей действительности, от правды, границы "я-могу" размываются, утрачивают жёсткость – все могу, море по колено, – мы познаем недолгое хмельное блаженство.

Но, с другой стороны, то, что память, сознание с картами "я-могу" всегда

Метаполитика. Ефимов Игорь Маркович filosoff.org
при нас, может стать и источником постоянных мучений.

Все наши ошибки, неудачи, унижения и неотмщённые обиды, все открывшиеся нам наши "не-могу" и одновременно страхи и опасения, ожидания неизвестных бед, надвигающихся из будущего, мысль о неизбежности смерти – всё это может превратить жизнь человека в сущий ад. А если ещё рядом живёт кто-то богаче, счастливей, сильнее, благороднее, то ко всему добавятся муки зависти – страдания, вызванные сравнением своего "я-могу" с несравненно более обширным "я-могу" соседа. Отсюда столь распространённая ненависть к тем, кого считают выше себя, а также к открывателям глаз, к тем, кто пытается облагодетельствовать людей светом истины и не понимает, что покушается на самое дорогое – на огромные пространства пусть призрачных, но утешительно-прекрасных "я-могу". И в то же время, лишь представив всю меру опасности жить с открытыми глазами, можем мы по достоинству оценить героизм тех, кто пользуется дарованным ему светочем сознания со спокойным мужеством, кто не опустит взора ни перед какой угрозой и в выборе "ведать или не ведать" не колеблясь выберет "ведать".

Царство "я-могу" потому представляется каждой человеческой душе главной драгоценностью, что в нём она видит воплощение, зримую реализацию свободы воли.

Там, где "я могу", я свободен.

Где начинается "не-могу", там моя свобода кончается.

Сказать "человек жаждет свободы" и сказать "человек жаждет сохранения и расширения "я-могу" – значит сказать одно и то же. Говорить, что человек вообще не свободен, потому что его воле поставлены границы там-то, там-то и ещё в тысяче мест, – значит заниматься софистикой и словесным трюкачеством. Осознанная необходимость – никакая не свобода, а как раз обнаружение границ, за которыми моя свобода кончается и начинается несвобода, "не-могу". Только внутри своего "я-могу" человек ответствен за свои поступки – хорошие или дурные, ибо только там он свободен.

Строго говоря, с философской точки зрения свобода относится к воле, к вещи в себе, следовательно, свобода каждого из нас бесконечна и не может быть сравниваема по принципу больше-меньше, шире-уже. Но нашей способности представления дано лишь смутно догадываться о безграничности дарованной свободы; зато конкретная реализация её в мире явлений, в царствах "я-могу" вполне доступна наблюдению и сравнению. Иными словами, мы можем допустить, что двум нашим современникам – американцу и китайцу – дана изначально одинаковая свобода отличать добро от зла и делать между ними свободный выбор. Но неравенство их "я-могу" в политическом, экономическом, культурном смысле будет настолько видно каждому с первого взгляда, что обиходная речь удовлетворяется простой формулой: американец свободен, а китаец – нет.

Существует, правда, умозрительная уловка детерминизма, утверждающая, что свобода воли – иллюзия, что в любом своем поступке человек подчиняется давлению явных или скрытых мотивов. Популярность этой идеи держится не на убедительности её, а на тех удобствах, которые она обеспечивает своим сторонникам в их отношениях с увёртливой совестью. Ибо, если каждый мой поступок – не акт моей свободной воли, а результат сложного переплетения врожденных черт, воспитания, окружающих соблазнов, социальных условий и тому подобного, то почему я должен нести за него какую-то нравственную ответственность? Пусть отвечают соблазны, социальные условия, воспитатели – кто угодно, только не я.

Детерминизм лишает смысла всякое этическое суждение о делах людей.

Добрый или дурной, хороший или плохой – слова эти делаются сущей бессмыслицей, если всё предопределено. И наоборот, ни в чём наша подсознательная убежденность в свободе воли не проявляется так повседневно, как в суждениях о хорошем и дурном. "Вы слышали об И.? Какой ужасный поступок!" – говорят нам. "Да полно. Может, он не сам его совершил? Может, его вынудили?" – первым делом спрашиваем мы. (То есть – "может, он не был свободен?") То же самое мы спросим, услышав о добром, хорошем: да сам ли человек совершил его, свободно ли? И чем окажется, что свободнее, безмотивнее, тем больше мы восхитимся добрым поступком, тем глубже возмутимся дурным. Даже те, кто на словах объявляют себя сторонниками предопределенности, кто считает, что господство причинно-следственных отношений распространяется и на поведение людей, на деле не могут отказать себе в удовольствии судить ближнего своего и всю пользуются понятиями хороший-дурной, благородный-низкий, ничуть не смущаясь такой непоследовательностью.

Нельзя, конечно, не согласиться с тем, что каждый человек может сильно заблуждаться насчет безмотивности своего поведения и преувеличивать свою свободу. Или с тем, что люди весьма неодинаковы по своей чувствительности к внешнему принуждению, к утрате свободы. Но нам нет нужды проверять, подлинными или поддельными картами царства "я-могу" пользуется та или иная

Метаполитика. Ефимов Игорь Маркович filosoff.org
индивидуальная воля, вводить какой-то критерий оценки. Там, где человеку удалось убедить себя в свободе своих действий, там и простирается его "я-могу"; где он начинает сомневаться, проявляет неуверенность, хочет испытать на деле (могу или нет?), там ничейная полоса или спорная территория, из-за которой при случае можно схватиться с пограничным "не-могу". И здесь-то, в этой готовности схватиться, затратить силы, время, здоровье, деньги и, может быть, испытать боль поражения, пережить крушение надежд, и обнаруживается разница в поведении людей, гораздо более существенная для нашего исследования.

С какой энергией человек устремляется на расширение своего "я-могу" - вот важнейшая характеристика его бытия в истории. Ибо только этой энергией создавались города и дороги, потоки золота и товаров переносились за тысячи километров, рушились и созидались троны, слово правды разносилось по всему миру.

Покуда я только "хочу", мера моего хотения остается фактом моей внутренней жизни - потенциальным, непроявленным, неизмеряемым. Но с того момента, когда я начинаю добиваться желаемого, когда мои духовные и физические силы приводятся волей в движение, когда люди и вещи вокруг меня начинают поддаваться моим усилиям, - с этого момента моё хотение реализуется в событие, в факт микроисторический и может быть с известной долей приближения оценено количественно: больше - меньше, сильнее - слабее.

Энергию, с которой люди устремляются на преодоление преград, стоящих на пути к достижению цели, договоримся называть энергией осуществления свободы.

Свободы - потому что расширение "я-могу" есть расширение сферы моей свободы.

Свободы - ещё и потому, что энергия любой человеческой деятельности неизбежно возрастает, когда человек уверен, что предается ей свободно, и спадает, когда принуждение становится очевидным. Общеизвестно, что труд раба самый непродуцибельный, но дайте ему каплю свободы - долю в урожае, оброк вместо барщины - и он с того же поля соберёт вдвое больше; использовать раба в качестве солдата так никому и не удалось, но армии восставших рабов были грозной военной силой. И наоборот, там, где человек абсолютно свободен, то есть в игре - спортивной, охотничьей, рыболовной, - он готов затрачивать такое количество энергии, времени, сил, преодолевать усталость, терпеть лишения, что становится ясно: ни тряпичный вымпел, ни несколько рыбёшек не могут служить сами по себе достаточным стимулом; здесь потребность осуществления свободы являет себя в чистом и бескорыстном виде.

Если два человека вышли поутру косить, то к вечеру мы сможем сказать про одного: этот накосил больше, он трудолюбивей, сноровистей. Если двое подрались, то мы скажем про победившего: он сильнее, ловчее, смелее. Если две лодки вышли в бурное море и одна перевернулась, а другая доплыла, мы скажем: ею управлял настоящий моряк.

Но в более общем виде можно сказать: один явил бльшую энергию осуществления свободы.

Все эпитеты, годные для характеристики отдельного человека, окажутся неприменимыми, когда речь пойдет о движении людских масс. Поэтому, если где-то на исторической арене нам явятся два народа, живущих рядом, и мы увидим, что у одного земля цветёт и плодоносит, а у другого сохнет и хиреет, если два войска сойдутся на поле битвы и десять тысяч побегут от тысячи, если один флот пустится в плавание и обогнёт материк, а другой будет рассеян первой же бурей, если один город украсится прекрасными зданиями, статуями, библиотеками, а другой будет составлен из глинобитных или крупноблочных коробок, - то метаполитика в каждом из этих случаев присваивает себе право сказать: в труде, в войне, в техническом и культурном развитии один народ являет нам бльшую суммарную энергию осуществления свободы и благодаря этому социальное и экономическое "я-могу" каждого из его граждан оказывается несравненно более обширным, чем "я-могу" любого из соседей.

Конечно, человек бесконечно многограннее, чем изложенная здесь схема. Душа его полна непостижимых тайн - тайны Божественного трепета, тайны любви, тайны восторга перед прекрасным. Но в исторической жизни, в сменах племён и поколений человек является не в неповторимости своей, а как раз в том, что в нём есть неизменного и общего со всеми людьми. Самое же общее всем людям, попросту суть человека, - это воля, сознающая свою свободу внутри царства "я-могу" и напрягающая все физические силы и все возможности дарованного ей разумного сознания к сохранению и расширению пределов этого царства. С помощью такого "ключа" я и собираюсь искать внутреннюю связь и объяснение исторических событий на том отрезке чело-веческой истории длиной примерно в пять тысяч лет, который доступен сейчас исследователю.

Воля "мы" как средство расширения индивидуальных "я-могу"

Где бы наш взор ни обнаружил homo sapiens, в самой отдаленной исторической эпохе или на затерянном в океане островке, мы всюду застаем его уже существом общественным. Род, племя, фратрия, клан, нация, государство – в таких формах являются нам воли "я", слившиеся в некое целое – в волю "мы".

Любое "мы", от простейше первобытного до современно изощенного, образуется одним и тем же приёмом: на все воли "я" обычаем или законом наложен ряд единообразных запретов, ряд искусственных границ "не-могу", нарушение которых влечёт либо наказание, либо изгнание из "мы". Границы-запреты накладываются на отношения с тем, что мыслится как высшая воля, – правила религиозного (или антирелигиозного) культа, на отношения с властью – обязанность повиноваться, на отношения с другими членами "мы" – уголовный закон, семейное право, охрана собственности.

Законы и обычаи могут быть разными, но сущность их и значение для жизнеспособности и целостности "мы" оставались одни и те же. Будь это "не могу отказать в гостеприимстве" ирокеза, или "не могу обнажить меч против соплеменника" гунна, или "не могу иметь денег" спартанца, или "не могу развестись" католика, или "не сотвори себе кумира" еврея – всюду смысл законодательства сводился к установлению однородной границы-запрета, одинаковой для всех индивидуальных волей, входящих в "мы" (или для воли одного сословия, касты, класса). Система таких, искусственных границ и образует социальную структуру любого "мы", формирует общественный организм.

Спрашивается: почему же воля, вечно стремящаяся к расширению своего "я-могу", соглашается терпеть эти границы-запреты?

Да потому, что взамен "я-могу", отнятого законом, она получает несравненно более обширные "я-могу", предоставляемые ей бытием в "мы". Ибо закон, отнимая, одновременно и дарует: ирокезу – "я могу не умереть с голоду, оставшись без всяких припасов"; гунну – "я могу уцелеть, живя рядом со свирепым соплеменником"; спартанцу – "я могу не бояться своего обеднения или обогащения соседа"; католику – "при всех обстоятельствах могу сохранить семью"; еврею – "могу остаться с избранным народом, получившим завет от Бога". Часто бывает, что даже человек, не согласный на предлагаемый обмен, не признающий правильность того или иного закона, готов терпеть его ради целостности "мы", которую этот закон обеспечивает. Уж лучше какое угодно "мы", как бы говорит он сам себе, пусть даже с нелепыми и жестокими законами, чем развал, анархия, беззаконие. И на этом – то свободном выборе, совершаемом негласно всеми членами "мы", и держится могущество всякой власти. Ибо власть – это как раз тот инструмент, который призван обеспечить спокойствие и порядок в "мы", охранять его от внешних и внутренних покушений, поддерживать прочность границ-запретов.

Значение "мы" для жизни человека переоценить невозможно.

Всё, чего достигло человечество, все сказочные "я-могу", составляющие норму нашей жизни, – я могу летать по воздуху, мчаться под землей, слышать за сотни километров, перегораживать реки, раскалывать горы, видеть дно океана и поверхность Луны, получать свет, тепло и воду прямо из каменных стен жилища, – всё это неразрывно связано с "мы". Но и в далёкие времена только "мы" могло обеспечить свершение тех дел, где требовались слаженные усилия многих людей, – затравить мамонта, удержать воды Нила на полях, построить многоэтажное пуэбло. Если и есть в извилистых метаниях всемирной истории какое-нибудь однонаправленное движение, то это, безусловно, то движение, которое газетный язык именует прогрессом, политэкономия – развитием производительных сил, а метаполитика будет называть расширением естественных границ "я-могу". Ограждая от беспощадной борьбы друг с другом, концентрируя хаотически расплывшиеся усилия, "мы" сберегало силы людей для борьбы с природой, для труда и творчества. Путь, пройденный от овладения огнём до овладения электричеством, представляет собой бесконечную цепь маленьких и крупных побед. Какие из них признать главными, определившими переломные моменты в ходе развития? Изобретение лука и стрелы, начало гончарного производства, плавление железной руды – вот вехи, выбранные Морганом для деления древнейшей истории. Нам понадобится более общий принцип деления, поэтому положим в основу его иерархию уровней, на которых является нам мировая Воля: человек, животное, растение, мёртвая материя, энергия.

В соответствии с таким принципом первый этап: природа противостоит человеку во всей своей первозданной враждебности; средства к существованию добываются охотой, рыбной ловлей, собирательством; информацию передавать умеют только здесь и сейчас – устная речь; примитивные "мы" строятся исключи-тельно на родовой основе. Охотничье-родовой – так будем называть этот уровень бытия "мы". (По Моргану – период дикости, включающий все три

подпериода.)

Второй этап начинается с великой победы – покорена ближайшая к человеку воля: приручено животное, посажено растение. Это дает сразу такое расширение экономического "я-могу", что для защиты его от покушений извне требуется более могучая организация – возникает племя. Племя уже настолько сложнее и больше рода, что, кроме живой речи, соединяющей соплеменников в пространстве, ему необходима и связь во времени, связь между поколениями: предание, подробная родословная по мужской линии, религиозное благоговение перед предком, нравственно сдерживающий страх перед осуждением потомка. Скотоводческо-племенное "мы" гораздо ближе к нам и изучено более подробно. (И Морган, наблюдавший его на индейцах Америки, и античные авторы, сталкивавшиеся с ним с оружием в руках, сходятся в названии периода – варварский.)

Следующий скачок, расширивший человеческое "я-могу", связан с началом оседлого возделывания земли. И хотя не исключено, что даже охотник родовой эпохи высаживал что-нибудь у порога своей хижины, кардинально изменить облик жизни людей эта победа могла только в союзе с другим завоеванием – с преодолением неорганического уровня, с подчинением камня и металла. Ибо переход к оседлой жизни отнимал у человека одно из важнейших "я-могу" – свободу передвижения, возможность в любой момент откочевать подальше и спастись от воинственного племени, появившегося по соседству. Где бы ни возникло оседлое земледельческое общество – в Египте, Шумере, Китае, Мексике, – всюду ему приходилось выдерживать многовековую борьбу с кочевниками, нападавшими неожиданно и потом исчезающими в бескрайних степях, саваннах, пустынях. Выстоять в этой борьбе земледельческое "мы" могло лишь там, где каменные стены поселений были прочны, металлическое оружие в избытке, а организация "мы" – гибкой и мобильной настолько, чтобы центральная власть в любой момент могла собрать войско и послать его на отражение нашествия. Великие цивилизации древности повествуют о победивших в этой борьбе, и только по неизвестным развалинам, обнаруживаемым время от времени археологами, можем мы догадываться о трагедии побежденных. Однако нынче и развалины, и степи, откуда налетали разрушители, находятся на территории какого-нибудь государства – к веку XIX вся земля до последней пяди была разделена между оседло-земледельческими "мы".

Наконец, начало четвертой эпохи, индустриальной, в которую народы вступают один за другим буквально на наших глазах, знаменуется овладением ещё более далеким от нас уровнем мировой воли – энергетическим. Уже первые шаги в этом направлении – овладение энергией океанского ветра и пороха – дали государствам, вырвавшимся вперед, – Португалии, Испании, Голландии, Англии – мировое могущество. Но глубокие перемены во внутренней структуре и внешнем облике общественных устройств начались лишь с появлением паровой машины и электрического генератора.

Сознание грандиозности этих перемен, отражённое в терминах "промышленный переворот", "научно-техническая революция", "новое индустриальное общество", породило настоящий взрыв социальных идей и течений, стремящихся перестроить имеющиеся "мы" в большем соответствии с небывальными возможностями, открывшимися перед каждым "я". Новые формы находятся ещё в процессе становления, порой мучительного, порой опасного для соседей, порой самоубийственного, и сейчас трудно предсказать, во что они выльются, достигнут ли когда-нибудь того же относительного единообразия, как "мы" земледельческой эпохи. Но то, что многие закономерности общественного бытия людей, проявившиеся в далёком и недавнем прошлом, сохраняют свою силу и в будущем, то, что эти закономерности могут помочь нам в выборе пути, – в этом сомневаться не приходится. Путь же ищется не к абстрактной цели, а к такой, достижение которой может изменить жизнь каждого из нас. Ибо в жизни нашей есть блага, даруемые судьбой, – здоровье, талант, преуспевание, любовь, но есть неопределимые блага, которые может дать лишь тот или иной общественный уклад: внутренний мир и порядок в государстве, внешняя безопасность, всеобщее богатство, высокая культура, личная свобода. Поэтому можно заранее предвидеть, что самый горячий, самый корыстный интерес, внутренний нерв и устремлённость всей этой книги составит простейший вопрос: как, каким образом народы достигали жизни свободной, цветущей, могущественной и как, из-за чего они эту свободу, силу, процветание утрачивали.

II. СТАТИКА ИСТОРИИ

1. Важнейшие функции жизнедеятельности "мы"

В 1851 году произошло два события, беспрецедентных для мировой истории. Об одном из них – первой Всемирной выставке в Лондоне – писали газеты всех

Метаполитика. Ефимов Игорь Маркович filosoff.org
цивилизированных государств. Другое прошло почти незамеченным и запечатлелось лишь где-то в глубинах статистических отчетов. Состояло оно в том, что впервые в одной из стран мира, а именно в той же Англии, численность городского населения сравнялась с числом сельских жителей и начала неумолимо обгонять его. И если когда-нибудь будет решено отмечать дату рождения индустриальной эры, думается, что именно второе, менее заметное событие послужит решающим аргументом к тому, чтобы выбор пал на 1851 год.

Конечно, для рождения исторической эры требуется не один год, не десятилетие, даже не век. Невидимыми ростками, едва заметными переменами, маленькими победами над волями "не-я", "не-мы" прорастает она в эре предшествующей, и только много лет спустя остранный взор историка может заметить: вот где-то здесь, между этим и этим столетием, микроскопические сдвиги сгустились в скачкообразное, неузнаваемое изменение всего уклада человеческой жизни. Так, сравнивая век XV до и после Рождества Христова, мы обнаружим, что разница между ними гораздо меньше, чем между веками XVIII и XX нашей эры. Связано это с тем, что вся мировая история до XVIII века есть в сущности история оседло-земледельческих "мы". Родоплеменные, кочующие "мы" вторгаются в неё чаще всего как внешняя разрушительная сила, и наши знания о них всё ещё разрозненны и недостоверны. "Мы" государственно-индустриальные целиком принадлежат разделу новейшей истории, находятся в процессе становления, не дают достаточного материала для обобщений. Только "мы" земледельческой эры изучены во всей пестроте, многообразии, изменчивости и в то же время законченности своих форм. Их-то и следует избрать в качестве первого объекта для наблюдений. Но где бы мы ни оказались, в Древнем Египте или в Иудее, Ассирии или Вавилоне, во Франкском королевстве или Венецианской республике, Византии или Киевской Руси, будем стараться всюду за пестротой и непохожестью культур, обычаев, костюмов, построек, политических формаций и верований разглядеть черты, общие всем "мы" на протяжении этих тридцати веков.

Первое, что бросается в глаза и что отмечено уже самим названием: подавляющее большинство населения занято в сельском хозяйстве, трудится на земле. Русский чернозём, китайский лёсс, илистые наносы Двуречья, маисовые плантации Америки, виноградники Кавказа, осушенные болота Прибалтики – всюду мы увидим те же согнутые спины крестьян, то же ярмо на воловьей или лошадиной шее, ту же мотыгу, лопату, плуг. Производительность труда находится ещё так низко, что даже самостоятельные торговые города-республики, по виду порвавшие с земледелием, на самом деле должны иметь где-то зависимые или полузависимые сельскохозяйственные области с сотнями тысяч крестьян, чтобы кормить тысячи своих ремесленников, моряков и торговцев, обеспечивать бесперебойное снабжение продуктами питания и сырьём. Ремесленно-строительное дело может находиться в зачаточном состоянии, может быть необычайно развитым, но всюду, будь то во времена фараонов или во времена римских пап, оно использует одни и те же материалы: камень, металл, дерево, кожу. Текстильное ремесло знает только натуральное волокно: шерсть, лён, шёлк, хлопок. Для передвижения грузов – весло и парус, вьюк и повозка. Вообще главный источник энергии – всегда мускульная сила людей и животных. Оружие, как наступательное, так и оборонительное, тоже меняется настолько незначительно, что, если бы войско крестоносцев под стенами Иерусалима столкнулось не с сарацинами, а, скажем, с римлянами времен Флавиев, ещё неизвестно, что бы взяло верх – христианский фанатизм или римская организованность.

Вторая черта, свойственная всем "мы" земледельческой эры, вторая важнейшая задача, которую каждому из них пришлось решать, – создание системы контроля над трудом и распределением продукта труда. Физическая работа бывает часто столь изнурительной и безотрадной, трудовая дисциплина столь тягостной, а продукт труда столь вожаденным, что никакое "мы" не продержалось бы и года, не имея оно в своём составе целой армии специальных распорядителей, следящих за тем, чтобы каждый работал с достаточной отдачей и не присваивал себе лишнего. Надсмотрщик, торговец, управляющий, деревенский староста, откупщик, финансист, помещик, налоговый чиновник, цеховой мастер, судовладелец, подрядчик, меняла – любой из этих людей принимает участие в сложнейшем социальном процессе, сравнимом по важности с процессом обмена веществ в живом организме. Контроль над трудом может осуществляться посредством насилия (рабство во всех его формах и градациях) или посредством экономического принуждения (господство частной или государственной собственности), распределение продуктов может происходить на основе денежного обращения или обходиться без него, сводиться к передаче натурального продукта, как это было в Древнем Египте, Спарте или любой средневековой синьории. Но так или иначе ни одно земледельческое "мы" без такой системы распорядительства существовать не могло, оно немедленно скатилось бы назад, к варварскому состоянию: сам наработал, сам потребил.

В-третьих, бытие земледельческого "мы" оказывается немислимым без постоянной центральной власти. Она может быть облачена в тоги римских сенаторов, в боярские шубы, в камзолы членов парламента, в короны и мантии королей, может занимать любую промежуточную точку на шкале демократия-деспотизм, но она должна быть. Там же, где она ослабевает, немедленно начинается внутренний раскол, феодализация, военная беспомощность - существование "мы" как самостоятельной единицы прекращается.

И наконец, в-четвертых, нам не удастся обнаружить ни одного "мы" без религии, без культа, без жречества или духовенства, то есть без группы людей, всё предназначение которых состоит в том, чтобы постигать вселенную, вырабатывать исчерпывающие ответы на основные вопросы бытия: что есть мир? Что есть человек? Что он должен делать? На что может надеяться?

Легко заметить, что четыре основные черты находятся в примечательном соответствии с четырьмя главными функциями животного организма. Ведь каким бы загадочным и диковинным ни показалось нам животное на первый взгляд, мы заранее можем предсказать, что в нем наверняка должен обнаружиться какой-то двигательный аппарат, мышечно-костно-хрящевая основа, во-вторых, система обмена веществ - пищеварение, дыхание, кровообращение, затем волевое начало, получающее внешнюю информацию от органов чувств, внутреннюю - через чувство боли или чувство удовольствия и передающее команды двигательным органам через нервную систему, и, наконец, головной мозг - орган, способный накапливать информацию и сохранять её во времени. (Четвертая функция - единственная, при нарушении или отсутствии которой ни животное, ни "мы" не теряет жизнеспособности.)

В зоологии спросить "как существует данный организм?" означает спросить "как в нём осуществляются четыре главнейших функции?".

Попробуем и мы свести вопрос об устройстве любого человеческого общества к вопросу о том, как в нём организованы труд, распорядительство, управление и миропостижение.

При таком подходе есть надежда, что обнаруженные закономерности нам удастся перенести из оседло-земледельческой в другие эры, протянуть их вперед и назад. Ибо все четыре функции мы безусловно обнаружим и в индустриальном "мы" (только с ещё более резкой дифференциацией), и в "мы" кочевом (как правило, в слитом виде). Действительно, до перехода к оседлой жизни каждый член племени был одновременно тружеником и воином, он же - владельцем имущества и распорядителем над трудами семьи, он же - через выборных вождей - активным участником центральной власти, он же - жрецом домашнего очага, хранителем и главным звеном в передаче сокровища родословной. Разделение этих функций, расслоение на классы происходило медленно, но, когда произошло, явило замечательное единообразие во всех частях света. Жрецы, нобилитет, свободные граждане и рабы - в Древнем Риме; духовенство, дворяне, горожане и крепостные - в Европе; брахманы, кшатрии, шудры и вайшьи - в Индии, - все эти сословно-кастовые окаменелости, так же как платоновское деление граждан идеального Города на золотых, серебряных, медных и железных, отражают изначально верную политическую интуицию, сводящуюся к простой мысли: для того чтобы государство могло правильно существовать, в нём кто-то должен трудиться, кто-то - распорядиться трудом и его результатами, кто-то - властвовать и сражаться, кто-то - постигать мироздание и его законы. На языке метаполитики то же самое будет звучать так: воля "мы" должна обеспечить себя со стороны низших волей - растительной, животной, неорганической (трудом), со стороны индивидуальной человеческой воли (распорядительством), со стороны волей других "мы" (центральной властью и армией) и со стороны Высшей Воли (постижением Божественного начала во всех его ипостасях).

Итак, трудовая, распорядительная, правящая и миропостигающая - вот четыре основные функции, характеристику которых нам надо знать вдобавок к географическому положению, численности населения и уровню развития производительных сил любого "мы", чтобы иметь о нём полное представление. Причем аналогия с животным организмом на этом этапе рассуждений кончается. Дифференциация функций у развитого животного зашла так далеко, что двигательный аппарат - мышцы, кости, хрящи - образуют одни клетки; легкие, сердце, желудок - другие; нервную систему - третьи. В "мы" же, куда речь идёт о реальной жизни, а не о фантазиях Хаксли, для осуществления каждой из четырех функций имеется один и тот же строительный материал - человек. Изменять человека как физиологическую особь "мы" не в состоянии. Но зато оно имеет другую возможность приспособлять его для своих нужд, для выполнения различных функций: по-разному накладывая на своих граждан границы-запреты, создавая различные социальные "я-могу".

Выше я говорил о том, что царства "я-могу" различных людей не могут быть исчислены ни в каких метафизических квадратных милях и сравнены между

Метаполитика. Ефимов Игорь Маркович filosoff.org
собой. Граница этого царства на многих участках проходит в сознании самого человека и часто бывает настолько расплывчата и неопределенна, что всякая возможность мало-мальски точной оценки исключается. Ещё чаще она просто относится к различным сферам деятельности. Было бы чистой нелепостью сопоставлять между собой "я-могу" талантливого музыканта, опытного моряка, ловкого афериста, способного инженера, атлета-рекордсмена.

С социальным "я-могу" дело обстоит совсем иначе.

Границы его определены социальным положением человека, обозначены с достаточной чёткостью и поддаются объективной оценке. Социальное "я-могу" представляет собой не что иное, как совокупность реальных прав и возможностей, предоставляемых человеку законом, обычаем или установившейся практикой человеческих отношений. Если сумма этих прав окажется одинаковой, мы с полным основанием сможем утверждать, что социальные "я-могу" музыканта, моряка, афериста, инженера, спортсмена равны между собой.

Неважно, какой масштаб мы выберем для оценки того или иного права. Важно, что вся сумма их может быть исчислена в том или ином масштабе; она-то и представит арифметическое выражение размеров социального "я-могу". Право дышать воздухом, ходить на двух ногах, пользоваться для работы некоторыми инструментами, спать под крышей, получать три раза в день похлёбку – вот примерный абрис социального "я-могу" раба античных времен и современного раба, узника концлагеря. Оценим ли мы такое "я-могу" единицей или одной сотой – главным останется то, что мы признали их равными между собой. Прибавив к этой сумме прав (а точнее, бесправия) право свободного переезда, право искать работу за подходящую плату, право иметь семью, право владеть личным имуществом, право участвовать в выборе местных и центральных властей, мы получим социальное "я-могу", отражающее одинаково положение римского гражданина времён республики, американского фермера после войны за независимость и современного рабочего в демократическом государстве.

Во всей истории не найдётся ни одного "мы", составленного из абсолютно равных социальных "я-могу". Повсюду неравенство возникало не от того, что одни были слишком жадны и честолюбивы, а другие слишком робки, доверчивы и послушны, но из необходимости предоставить человеку, исполняющему распорядительную или правящую функцию, гораздо большее "я-могу", чем прочим, – иначе он не смог бы справиться со своими обязанностями. Другое дело, что со временем степень неравенства часто перерастала разумный и оправданный уровень. Или застывала в виде сословно-кастовых барьеров, ставящих "я-могу" человека в зависимость от факта рождения, а не от его рвеня и способностей. Но само по себе неравенство было и будет всегда – таково неизбежное условие существования "мы". (Анархизм, считавший неравенство главным злом, весьма последовательно доходил до необходимости упразднения любых форм государственности.)

Поразительное многообразие социальных структур, оказавшихся исторически жизнеспособными, проистекает от возможности бесконечно варьировать размеры социальных "я-могу" для различных групп населения, вглубь и вширь изменять степень неравенства.

Законодательная власть может запретить одним людям покидать их участки земли, запретить им распоряжаться урожаем по своему усмотрению, может отбирать львиную долю в свою пользу – и получит полурабский трудовой класс с ничтожным социальным "я-могу". Или, наоборот, запретит кому бы то ни было покушаться на землю тех, кто трудится на ней, а подати распределит пропорционально доходам – социальное "я-могу" трудового класса в этом случае окажется гораздо шире. Другим людям могут быть предоставлены строго охраняемые права на владение и приумножение любого вида собственности – они составят класс распорядителей с весьма широким социальным "я-могу". Если же владение собственностью (как правило, земельной) связано обязательно с несением военной службы или другими ограничениями, "я-могу" распорядителя оказывается в значительной мере стеснённым. Наконец, "я-могу" тех, кто принимает непосредственное участие в отправлении центральной власти, должно быть несравненно обширнее любых "я-могу" управляемых, но и они могут изменяться в значительном диапазоне: от "я-могу" полунезависимого сеньора, связанного с королем-сюзереном непрочной вассальной клятвой, до "я-могу" турецкого паши, которого султан в любой момент может отозвать, прогнать в ссылку, отправить на плаху.

Размеры социального "я-могу" – с этим важнейшим параметром мы и попытаемся соотнести эффективность участия человека во всех четырёх жизненно необходимых функциях "мы".

2. Социальное "я-могу" и труд

Ни в одном оседло-земледельческом государстве не удастся нам обнаружить человека, который трудился бы исключительно на себя. Так или иначе

Метаполитика. Ефимов Игорь Маркович filosoff.org
налогами, податями, барщиной, оброками, повинностями из каждого члена "мы", занятого в трудовом процессе, должно быть извлечено добавочное количество труда, идущее на содержание армии, аппарата власти, класса распорядителей, на нужды образования, благотворительности и тому подобное. Вполне естественно, что человек, как правило, ищет возможность уклониться от этого добавочного труда, а "мы" изыскивает способы принудить его трудиться. Сжимая его социальное "я-могу" то так, то эдак, оно добивается своей цели, получает нужный избыток, а иногда и много больше того, что ему необходимо, то, что целиком пойдёт на роскошь и излишества правящей группы.

История даёт нам четыре основные градации, характеризующие меру принуждения в труде, четыре степени сужения социального "я-могу": раб, серв, наёмный батрак, самостоятельный хозяин, платящий налоги,

К сожалению, пользование этими терминами часто оказывается затруднительным из-за того, что каждый из них в значительной мере прирос к той эпохе, где впервые вошёл в употребление. Человека, одинаково лишённого всяких прав и имущества, сведённого на положение рабочей скотины, которую можно послать на любую работу, морить голодом, избивать и даже убивать, принято почему-то называть рабом, если он живёт в Древнем Риме, сервом – в средневековой Европе, крепостным – в России времён Чичикова, эзком – в России времён Сталина. С другой стороны, невероятно широкое распространение получило мнение, будто процесс исторического развития шёл в направлении непрерывного расширения свободы труда: рабовладение, феодально-крепостнические отношения, капитализм, социализм. Подчиняясь давлению этой утешительной идеи, многие историки всё, что происходило примерно до IV века после Р. Х., стремятся называть рабовладельческой эпохой, между IY и XUY – феодализмом, и так далее. "Сколько "феодализмов" расплодилось в мире – от Китая до Греции ахейцев в красных доспехах! По большей части они ничуть не похожи... Просто каждый... историк понимает это слово на свой лад" [8, с. 95].

Действительно, подгонять истории народов в эту прокрустову схему удаётся только при намеренном закрывании глаз на исторические факты.

Что касается так называемой рабовладельческой эпохи, то даже самые рьяные апологеты непрерывного прогресса социальных отношений не решатся утверждать, что в экономике таких стран, как Древний Египет, Двуречье, Персия, Индия, Китай, рабский труд играл определяющую роль. Но возьмём даже не их, а классические примеры рабства – Древний Рим и Афины.

В тысячелетней истории Рима социально-экономические отношения меняются в широком диапазоне то в сторону сужения то в сторону расширения свободы труда. Первые три века республики (V–III до Р. Х.): вся земля разбита на участки и обрабатывается руками их владельцев – свободных граждан. Римский гражданин по закону не может быть продан в рабство; не видно и потека военнопленных, хотя войны ведутся с невероятным упорством и постоянством. По мере покорения внутрииталийских областей – Лациума, Самниума, Этрурии, Умбрии и других – население их получает права союзников, постепенно ассимилируется – о рабстве всё ещё нет речи. Лишь после первой Пунической войны (264–241 годы до Р. Х.), с захватом Сицилии, где карфагеняне имели развитое рабовладельческое хозяйство, труд рабов становится заметным участником экономической жизни страны. Сицилийский хлеб потоком устремляется в Италию, в урожайные годы он продаётся за провозную цену. С захватом Северной Африки поток этот делается ещё обильнее, и начинается тот процесс разорения мелкого крестьянина-землевладельца, с которым безуспешно пытались бороться Гракхи, который наполнил римскую историю II и I веков до Р. Х. чудовищными социальными смутами и отлился в классический образ рабовладельческой структуры.

Применение в широких масштабах рабского труда на территории самой Италии привело к резкому снижению абсолютной производительности сельского хозяйства. "Мы поручаем землю худшим рабам, точно палачам", – писал Колумелла. "Хуже нет обработки полей толпами рабов, – вторит ему Плиний, – так как что можно сделать с людьми отчаявшимися?" "Проезжая через Этрурию, Тиберий Гракх поражен был её пустынным видом: обрабатывали землю и пасли стада рабы-чужеземцы" [77, с. 222, 178]. Некий Фурий Крезим, вольноотпущенник, лично обрабатывающий свой участок, был привлечён к суду по обвинению в колдовстве, потому что собирал с каждого югера своего небольшого поместья гораздо больший урожай, чем соседи – крупные рабовладельцы. За сто лет урожайность упала на 30–40 процентов.

С того времени, как нерентабельность рабского труда стала очевидной общественному сознанию, началось обратное движение – отпуск на волю, передача земельных участков в мелкую аренду полузависимым колонам. Уже при Августе издается закон, устанавливающий допускаемую процентную норму отпуска, запрещающий освобождать больше ста рабов зараз, из чего можно заключить, сколь стремительно шёл этот процесс. Но, несмотря на все

запрещения, к концу V века после Р. Х, колонат полностью вытесняет рабство в сельском хозяйстве. В промышленности это произошло ещё раньше. В античных источниках мы находим запись с такими цифрами: "Относительное распределение ремесленников в Италии по их социальному составу: свободные - 46 процентов, вольноотпущенники - 52, рабы - 2 процента" [3, с. 87].

Итак, мы видим, что из тысячи лет лишь двести (второй и первый века до Р.Х.) приходится на собственно рабовладельческую экономику. Но и в эти двести лет никогда число рабов не превышало числа свободных. Подсчёты Беллока дают для Италии 29 года до Р. Х. 2 миллиона рабов на 3,5 миллиона свободных, однако нельзя забывать, что к тому времени Рим был мировой державой с огромными провинциями, где рабский труд вообще не применялся, - Галлия, Малая Азия, Египет.

Аналогично обстояло дело в Афинах.

В течение почти двух веков, отделяющих законодательство Драконта (621 год до Р. Х.) от Пелопоннесской войны (431), вся трудовая деятельность осуществлялась руками свободных. Реформы Солона (594) отменяют долговое рабство, в его же законах находим мы множество статей, посвящённых важности и необходимости труда. "Он направил сограждан к занятию ремеслами и издал закон, по которому сын не обязан содержать отца, не отдавшего его в учение ремеслу, и вменил в обязанность Ареопагу наблюдать, на какие средства живёт каждый гражданин, и наказывать праздных" [60, т. 1, с. 118]. Перикл не допускал рабов к созданию храмов и памятников. Ещё в комедии Аристофана "Богатство" предположение, что вся работа будет исполняться рабами, используется как шутивная гипербола. Каким же образом могло случиться, что гипербола вдруг обернулась явью?

В социальной структуре Древних Афин после отмирания родовых учреждений главной единицей стала семья, возглавляемая отцом - афинским гражданином. Пришлые иностранцы, имевшие какое-то имущество и занятие и предпочитавшие жить в Афинах, получали права метэков. Для вовлечения же в социальный организм всего безарядного люда - незаконнорождённых, пленных, бездомных беглецов, бедных иммигрантов - существовал (как и в Риме) институт рабства. Раб входил в состав семьи, был полностью подчинён воле главы семьи, но ведь и над остальными членами семьи власть отца была почти абсолютной - и в Греции, и в Риме закон позволял отцу продать и даже убить сына. "Любопытный обычай, долго державшийся в афинских домах, показывает, как именно раб вводился в круг семейства. Его подводили к очагу, ставили перед лицом домашнего бога, поливали ему голову очистительной водой, и тогда он подал с семьёю несколько печенья и плодов. Этот обряд имел сходство с обрядами бракосочетания и усыновления" [80, с. 122]. Таким образом, раб долгое время был случайностью в афинской общине, а труд его по большей части сводился к домашнему обслуживанию.

Но с момента выхода на широкую международную арену, после побед над Персией и установления общегреческой гегемонии положение и внутреннее состояние Афин резко меняется. Побережье Средиземного и Чёрного морей покрывается десятками афинских военно-торговых поселений - клерухий, - что вызывает сильный отток коренных граждан из метрополии. Каждая клерухия становится деятельным хозяйственным и торговым центром, вовлекает в экономическую деятельность окрестное население и поневоле направляет его обратно в Афины не только в качестве пленных, но и в качестве матросов, грузчиков, слуг и прочего подсобного люда. "После фемистокла Перикл больше, чем кто-либо другой, способствовал развитию республики. Значительный приток иностранцев, которых привлекали сюда решения афинских народных собраний и юрисдикция их судов, оживлял все отрасли промышленности и торговли... Находился труд для всех, а следовательно, и довольство, и зажиточная жизнь для всех тех, кто хотел приняться за труд" [11, с. 49].

Каким образом эта притекающая масса могла быть включена в уже сложившийся организм Афинского государства?

Ни один из этих людей не мог стать афинским гражданином, ибо он не принадлежал ни к одной из десяти фил, не имел ни земельной собственности в Аттике, ни собственного очага, освящённого домашним божеством. Он мог остаться метэком, но в этом случае его свобода была слишком велика, чтобы какой-нибудь фермер или владелец мастерской согласился предоставить ему работу - ведь такой работник мог в любой момент бросить порученное ему дело и уйти куда вздумается. (Бегство *орегаргос* - наемных работников - в Риме упоминается Катонем как дело обычное.) Была единственная возможность включить такого человека, будь он военнопленный или просто приبلудный бродяга, в круговорот афинской производственной жизни, подчинить его социальной дисциплине - сделать его рабом.

Афинская государственная мудрость сознавала всю опасность ситуации и вплоть до Перикла старалась затормозить этот процесс, оградить коренных граждан от конкуренции рабского труда, предохранить их от обнищания и

Метаполитика. Ефимов Игорь Маркович filosoff.org
разорения. Но Пелопоннесская война (так же, как Пунические войны в Риме) сломала все законодательные плотины. Армия и флот поглощали такое количество граждан, что некому было трудиться на полях и в мастерских, – с этого момента и вплоть до III века до Р. Х. труд делается уделом одних рабов.

Однако афинский раб вовсе не был тем закованным в цепи, клеймённым и сечёным горемыкой, каким его изображают картинки школьных учебников.

"Может быть, будут удивляться, – писал в начале IV века до Р. Х. Ксенофонт, – что позволяют рабам жить в роскоши, а некоторым даже пользоваться великолепием, но этот обычай, однако, имеет свой смысл. В стране, где флот требует значительных расходов, пришлось жалеть рабов, даже позволить им вести вольную жизнь, если хотели получить обратно плоды их трудов" [11, с. 132].

"Свободу слова... вы считаете настолько общим достоянием всех живущих в государстве, – обращается к своим согражданам Демосфен, – что распространили её на иностранцев и на рабов, и часто можно увидеть у вас рабов, которые с большей свободой высказывают то, что им хочется, чем граждане в некоторых государствах" [24, с. 109].

"Последнее же дело свободы у этого народа, – жалуется Платон, – состоит в том, что купленные мужчины и женщины нисколько не меньше свободны, как и купившие их" [59, т. 3, с. 428].

Мы также знаем, что полицейскую службу в Афинах несли 1200 скифских стрелков – государственных рабов. Вряд ли те, кто каждый день применял насилие к нарушающим порядок полноправным гражданам, могли бы исполнять свои обязанности, оставаясь бесправными и забытыми существами. Положение рабов в знаменитых Лаврийских рудниках было гораздо тяжелее и больше приближалось к хрестоматийным представлениям, но и там восстание произошло только в конце II века до Р. Х., то есть во времена римского господства.

В Древнем Вавилоне эпохи расцвета (VII–VI века до Р. Х.) термин "рабство" также скорее обозначал форму организации труда, нежели выражал предел бесправия и угнетённости. "Для вавилонян рабами были и храмовые крепостные, и пленники, и покорённые народы. Даже на свободных наемных рабочих, ремесленников и людей интеллигентного труда, работающих по найму, смотрели как на рабов, потому что они работали не на себя, а на других людей" [6, с. 231]. Нерентабельность рабского труда в сельском хозяйстве была настолько очевидна, что, например, богатое семейство Эгиби, владевшее тремястами рабами, предпочитало отдавать землю в аренду свободным – из 109 участков только восемнадцать обрабатывалось рабами. (Возможно потому, что свободных арендаторов не хватало.) Рабов же предпочитали отдавать внаём всевозможным предпринимателям или даже самим себе – как нанятый он работал гораздо эффективнее, чем как раб, "Рабыня Исхуннатум, принадлежавшая той же семье Эгиби, 20 декабря 524 года до Р. Х. заключила контракт со своим господином Итти-Мардук-Балату. Тот дал ей запасы сикеры, фиников, кассии, бронзовую посуду, мебель и инвентарь на общую сумму в 2 мины серебра, а также сдал ей внаём помещение. Исхуннатум открыла фешенебельное увеселительное заведение в городе Кише, которое приносило солидные доходы" [6, с. 184]. Раб, вступающий в договорные отношения с хозяином и ведущий самостоятельное дело! Ясно, что ни о чём подобном спартанский илот или фессалийский пенест не могли и мечтать, хотя формально рабами они не считались.

В Древнем Китае эпохи Хань (II век до Р. Х. – II век после) число рабов "вряд ли превышало когда-нибудь один процент от численности всего населения. Обычно это были родственники осуждённых, которые конфисковались государством вместе с их имуществом". В рабство могли обратить человека и за долги. Превращая должника в своего долгового раба, кредитор закреплял этот акт порабощения, согласно нормам обычного права, усыновлением или женитьбой заложника (на рабыне или на собственной дочери)... Заложника после женитьбы называли "чжуйсуй" – "заложный зять" [58, с. 105].

Посмотрим теперь, что происходило с институтом рабства в последующие эпохи.

Во Франции во времена Меровингов "число рабов не только не уменьшилось, а, наоборот, увеличилось в сильной степени... В дарственных актах и завещаниях упоминается о многочисленных покупках рабов" [81, т. 6, с. 701].

"Экономическое благосостояние Киевской Руси XI и XII веков держалось на рабовладении... Русский купец того времени всюду неизменно являлся с главным своим товаром – с челядью" [36, т. 1, с. 274].

"Во времена вступления на престол Генриха Второго (1154–1189) в Ирландии было множество англичан, захваченных в рабство" [20, т. 1, с. 138].

Испания, едва успев обосноваться в Америке, обращает в рабство индейцев и начинает зверски их эксплуатировать.

Метаполитика. Ефимов Игорь Маркович filosoff.org

С XVII века начинается широчайшее использование невольничьего труда в колониях европейских стран.

В XVIII веке крепостные крестьяне в таких странах, как Россия и Польша, низводятся до положения рабов, делаются объектом купли-продажи.

В XIX веке оплот мировой демократии – Америка эксплуатирует три миллиона чёрных невольников.

В XX веке оплот мирового социализма – Россия – сооружает каналы, города и нефтепроводы руками рабов-зэков.

Фашистская Германия вывозит миллионы иностранных рабов для своих заводов и ферм.

Всё это, думается, даёт нам достаточно оснований прекратить разговоры о каком-то рабовладельческом строе, ушедшем в далёкое прошлое.

Мы должны ясно сказать себе:

Рабство есть предельная форма стеснения свободы человека труда, предельное сужение его социального "я-могу", возможное на любой ступени развития производительных сил, при любом политическом устройстве, в прошлом, настоящем и будущем.

Механизм насильственного удержания человека в рабстве настолько несложен, что каким бы способом он ни осуществлялся – частновладельческим или государственно-полицейским, – разрушить его изнутри так называемой классовой борьбой никогда и никому не удавалось. Рабство начинало давать трещины лишь в те моменты, когда оно делалось тягостным для всех слоев общества, и чаще всего, когда рабовладельческое "мы" вступало в военное или экономическое соперничество с "мы", обеспечивающим большую свободу своим членам. Вполне естественно, что человек, для которого "мы" оборачивается не охранителем его "я-могу", а только жестоким тюремщиком и эксплуататором, будет заинтересован лишь в том, чтобы побольше есть и поменьше работать; на поле боя же побежит при первой возможности. Рабство настолько неэффективно в экономическом и военном отношении, что длительное существование его могли себе позволить либо очень богатые и могущественные демократии – Карфаген, Афины, Соединённые Штаты, либо гигантские деспотии – Персия, Рим, Россия, Китай. Но даже и там рабство оказывалось применимым далеко не во всех видах производства. Северяне в Америке не пользовались рабами не потому, что они были гуманнее южан, а потому, что, по замечанию Адама Смита, "возделывание сахара, табака и хлопка могло вынести расходы по обработке земли рабским трудом, а возделывание хлеба (основной культуры Севера) – нет" [64, с. 286].

Но спрашивается: если рабство не только жестоко, аморально, бесчеловечно, но ещё и невыгодно во всех смыслах, почему же оно возрождается с таким упорством? Почему и сегодня мы не вправе считать себя гарантированными от его возврата?

Чтобы понять это, рассмотрим классический пример возникновения рабства, не связанного с внешними захватами, возникшего внутри изолированной социальной структуры, – крепостническую Россию.

К началу XVI века политическое состояние Русского государства окончательно отливаётся в формы абсолютной централизованной монархии. Земля принадлежит либо казне, либо монастырям, либо жалуются государевым слугам по месту их службы (поместье), пользуясь ею при условии исправного несения воинской повинности. Крестьянин является вольным и переходим арендатором чужой земли. Он получает от владельца ссуду – инвентарь, рабочий скот, семена – и осенью, в Юрьев день, сняв урожай, может рассчитаться и уйти куда вздумается. Однако это в теории. На деле же рассчитаться ему очень трудно. Как правило, он остаётся должником и по закону уйти не может. Свободный выход постепенно отмирает и вырождается в две формы перехода: побег или своз, то есть переход на землю другого владельца, который берётся погасить задолженность крестьянина.

Естественно, ни тот, ни другой вариант не устраивает центральную власть.

В случае побега она на неопределённое время теряет из виду тяглого крестьянина – плательщика податей.

В случае своза – а своз может позволить себе лишь богатый землевладелец, ищущий рабочих рук за счёт бедного, – государство теряет воина, который, оставшись без рабочей силы на своей земле, разоряется и не может исправно нести службу.

Поэтому все московское законодательство конца XVI – начала XVII века в крестьянском вопросе направлено на ограничение всех форм крестьянского перехода, на прикрепление крестьян к земле. С другой стороны, вечная нехватка денежных средств толкает правительство на безрассудное увеличение налогов, приводящее к окончательному разорению крестьян. И всё же нигде в московских указах того времени мы не найдём ни одной статьи, которую можно было бы считать установлением крепостного права. Даже отмена знаменитого Юрьева дня – всего лишь полицейская попытка прекратить бесчинство своза, ибо

Метаполитика. Ефимов Игорь Маркович filosoff.org
свободный выход к тому времени умер уже сам собой. Наоборот, в Уложении 1649 года сказано, что "крещёных людей никому продавать не велено", а также запрещена практика закладничества, т.е. добровольной, отдачи себя в холопы. Как ни парадоксально, эти постановления вызвали бурю возмущения в народе. "Для многих бедных людей холопство и ещё больше закладничество были выходом из тяжёлого хозяйственного положения. При тогдашней дешевизне личной свободы и при общем бесправи... покровительство и "заступа" сильного приёмщика были ценными благами; потому отмена закладничества поразила закладчиков тяжким ударом, так что они в 1649 году затевали в Москве новый бунт, понося царя всякой неподобной бранью... Свободное лицо, служилое или тяглое, поступая в холопы или в закладчики, пропадало для государства... Личная свобода становилась обязательной и поддерживалась кнутом" [36, т. 3, с. 144].

Однако даже страх наказания не мог заставить людей сохранять свободу, стоившую так дорого. Не будучи вправе отдаться в холопы открыто, крестьянин теперь, рядясь с землевладельцем на его землю, обязывался "помещицкое всякое дело делать и оброк платить, чем он меня пожалует" и "...сам отказывается в порядной записи навсегда от права прекратить каким-либо способом принимаемые на себя обязательства. Внесение такого условия в порядную и сообщило ей значение личной крепости" [36, т. 2, с. 328]. В то же время землевладелец всё чаще обязывался уплачивать в казну подати за своих крестьян.

Такой вариант вполне устраивал центральную власть.

Ко второй половине XVII века жизненный уклад окончательно сложился таким образом, что помещик получил гарантированную рабочую силу для своей земли, правительство в его лице - исправного слугу и дарового налогового инспектора, а Россия - крепостное право, просуществовавшее двести лет (столько же, сколько рабство в Риме и Афинах).

Аналогичным образом формировалось крепостничество и в других странах.

В Византии X века податное обложение достигло невероятного напряжения. Кроме поземельной подати и многие, многих других "в Византии существовала и подушная подать, взимавшаяся не с земли, а со [свободного] лица и имевшая странное название "воздух" (air) - как бы сбор за право дышать воздухом" [5, с. 658]. Разоряемым крестьянам не оставалось ничего другого, как отдавать себя в полное распоряжение и одновременно под защиту владельца земли. Правительство сначала пыталось сдерживать этот процесс, издавало указ за указом в защиту "бедных и убогих", но в XI веке само пошло ему навстречу и принялось раздавать направо и налево земли с крестьянами в пронию - пожизненное владение - служилому сословию (пронарь - то же самое, что помещик в Московском государстве).

Во франкской монархии "вследствие алчности казны или таможенных чиновников были (кроме обычной земельной подати) придуманы новые налоги. В конце меровингского периода существовал налог на пыль, то есть на ту, которая поднималась возами или вьючными животными; затем ещё налог на колёса и дышла..." [8, т. 3, с. 322] и так далее. Хуже всего дело обстояло там, где налоги отдавались на откуп, а это происходило почти повсеместно. "Повинности главным образом тяготели над средним классом свободных людей и землевладельцев. Податная и воинская системы одинаково способствовали разорению этого класса. А потому случилось так, что он незаметно исчез; все люди постепенно бежали из его рядов, одни попадали в разряд колонов и сервов, другие поднимались до степени вассалов сеньоров. Чтобы избавиться от тягот свободы, люди отказывались от свободы, от самой собственности и искали убежища в серваже или в феодалных отношениях" [81, т. 6, с. 631].

Эта упорная повторяемость и похожесть исторических ситуаций позволяет нам сделать окончательный вывод: низведение народа до рабского состояния происходит там, где центральная власть, испытывая острую нужду в добавочных средствах, в избытке народного труда, оказывается достаточно сильной, чтобы выжать его, и достаточно безрассудной, чтобы осуществлять это любыми способами, не заботясь о будущем. А так как власть всегда почему-то нуждается в средствах и весьма часто бывает безрассудной и недалёкой, рабство возникает на исторической сцене с поразительной живучестью.

Экономическая неэффективность рабского труда, в конечном счёте, мало заботит центральную власть. Ведь она заинтересована не в абсолютной величине, произведённого в стране продукта, а в том, какую часть его она может извлечь в свою пользу. Естественно, что у свободного человека отнять плоды его труда гораздо труднее, чем у раба. Когда турецкие султаны вдобавок к тяжёлым налогам "установили своё неограниченное монопольное право "закупать" сельскохозяйственные продукты по ими установленным ценам" [56, с. 122], они получили в ответ крестьянскую войну на 15 лет (знаменитая Джелялийская смута, конец XVI - начало XVII века). Лишь поработив народ совершенно, сузив его социальные "я-могу" до минимальных размеров, можно

Метаполитика. Ефимов Игорь Маркович filosoff.org
выжимать из него последние соки и доводить страну до полного экономического ничтожества, подрывая в конечном итоге собственные – центральной власти – устои.

Я так подробно остановился на рабстве потому, что, будучи предельной формой сужения социального "я-могу" трудового человека, оно может быть легко опознано в разных исторических эпохах под разными обличьями и затем подвергнуто сравнительному изучению. Другие степени сужения являют собой большее многообразие, не так легко поддаются унификации. Тем не менее следует попытаться уточнить, что именно мы в дальнейшем будем понимать под терминами "раб", "серв", "наёмный рабочий", "самостоятельный хозяин".

Непосредственному участнику трудового процесса можно предоставить или, наоборот, отнять у него три важнейших "я-могу":

- 1) я могу распоряжаться плодами своего труда,
- 2) я могу распоряжаться собой (иду и работаю где хочу),
- 3) я могу владеть средствами производства.

Рабом мы впредь договоримся называть человека с нулевой степенью свободы, то есть лишённого всех трёх "я-могу". В этом случае под определение раба попадут не только рудокопы Лаврийских рудников, но и индейцы в испанских колониях, негры-невольники на американских плантациях, русские крепостные, иностранные рабочие в фашистской Германии, зэки в сталинской России.

Человека, прикрепленного к рабочему месту, но обладающего правом на какую-то долю продукта своего труда (за вычетом определенного оброка), будем называть сервом. В таком положении находились древнеримский колон, древнеегипетский феллах-общинник, спартанский илот, византийский парик, английский виллан, итальянский анцилла, новгородский половник, колхозник сталинской поры.

Наёмный – это тот, кто обладает уже двумя степенями свободы, двумя "я-могу": я могу распоряжаться продуктом труда (сколько заработал) и собой (свобода переезда, перемены работы). Исторические примеры – *oregarios* в Древнем Риме, сельский рабочий эпохи Уота Тайлера, батрак, подёнщик, ремесленник и городской рабочий всех времен.

Наконец, самостоятельный хозяин может не только распоряжаться собой и продуктом своего труда, но и владеть средствами производства. Так обстояло дело с римским крестьянином при республике, английским йоменом, испанским хуньеросом, русским казаком, финским хуторянином, американским фермером, мелким ремесленником в любой стране.

Естественно, приведённая схема не исчерпывает всех известных нам вариантов. В реальной исторической жизни мы можем найти примеры, когда человек обладал правами на продукт труда и на средства производства, но не пользовался личной свободой (оброчный крепостной, заводящий собственное дело, та же вавилонская рабыня Исхуннатум). Или пользовался личной свободой, но не владел ни средствами производства, ни продуктом труда – наёмный рабочий в любую кризисную эпоху. Не всегда нам удастся отнести того или иного работника с полной уверенностью к одной из категорий. Скажем, турецкий райя – крепостной или наёмный? Ремесленник в цеховой корпорации – какими из трех выделенных нами "я-могу" он реально обладает? Подмастерье и ученик, которых парламентский статут 1388 года обязывал "в страдную пору бросать свое ремесло, чтобы снимать урожай и доставлять зерно" [75, с. 48], – насколько стиснуто его "я-могу"? Внутри каждой категории расслоение тоже могло быть весьма значительным. В Кастилии хуньерос де эредад очень хорошо понимали свое отличие от хуньерос де кавеса, плативших подушную подать не только королю, но и сеньору. В Новгородской республике и земцы, и сябры (в отличие от смердов) были свободными, но на последних лежали дополнительные (хотя и добровольно принятые) путы кооперативного товарищества. В Древнем Китае существовало множество специальных терминов для обозначения различных категорий рабов.

Но со всеми этими оговорками удобство подобной разбивки на категории представляется мне очевидным. Зная, какой процент непосредственных производителей обладал нулевой степенью свободы, какой – одной, двумя, тремя, мы получаем возможность описать состояние трудового класса в любом "мы" в любой момент истории. Мы получаем возможность сравнивать их между собой, обходя терминологическую путаницу – раб, илот, пенест, крепостной.. Мы можем не бояться и появления новых, затемняющих дело терминов, на которые так богат наш XX век, – меры стеснения свободы останутся теми же. Мы можем искать и обнаруживать связь между изменениями свободы труда и возрастаниями и спадами произ-ведённого в стране продукта. Найдя при помощи понятия социального "я-могу" форму математической оценки социальной свободы, мы можем сопоставить её с математическими формами, выработанными экономикой.

К сожалению, историческая статистика сохранила для нас более или менее

Метаполитика. Ефимов Игорь Маркович filosoff.org
точные данные лишь начиная с XIX века, то есть с возникновения индустриальной эры. По отношению к оседло-земледельческим "мы" нам придётся, довольствоваться лишь приблизительно-иллюстративными сведениями, часто используя военную силу или слабость государства в наступательной войне как косвенный экономический показатель. Однако даже этих неполных сведений достаточно для получения вполне наглядной картины.

Пусть мы не знаем, во сколько раз возросла продуктивность сельского хозяйства в Вавилоне после реформ Ашшурбанипала, возродившего в VII веке до Р. Х. класс свободных землевладельцев, в Испании после пожалований короля Альфонса IX Леонского, в Англии после вытеснения вилланов свободными йоменами, в Псковской республике после отмены холопства, во Франции после Великой революции, уничтожившей крепостное право. Но мы знаем, что Вавилон через каких-нибудь пятьдесят лет сбрасывает ассирийское иго и становится богатейшим и могущественнейшим государством тогдашнего мира. Что в Испании именно в XIII веке Реконкиста начинает делать заметные успехи, а государство богатеет, несмотря на мятежи и смуты. Что Англия времён Столетней войны из далёкой окраины цивилизованного мира превращается в полноправного участника европейской политической и хозяйственной жизни с огромными ресурсами и блистательным будущим. Что крошечному Пскову оказывается по силам отстаивать свою независимость от Ливонии, Польши, Новгорода, Москвы и привлекать на свои ярмарки сотни богатых купцов. Что послереволюционная Франция при Наполеоне может вступить в военное и экономическое соперничество со всем остальным миром.

И если соединить эту цепь исторических примеров (которую можно продолжать и дальше) с наглядным жизненным опытом, показывающим нам каждый день, как преобразуется человек, переходя от службы, труда подневольного, к труду свободному, труду на себя - на своем участке, в своём доме, у своего автомобиля, - то можно, не дожидаясь точных подсчётов по предложенной схеме, прийти к однозначному выводу: увеличение свободы неминуемо влечёт за собой увеличение производительности труда и, наоборот, всякое сужение "я-могу" снижает отдачу в труде.

Окончательно резюме этой главы можно сформулировать так:

Чем шире социальное "я-могу" человека, тем больше энергии вкладывает он в свой труд, но тем труднее центральной власти пользоваться результатами его труда для своих нужд; чем уже "я-могу", тем меньше продукт, но тем проще его присвоение.

Только высокая политическая и гражданская культура народа, суммированная в гибких и устойчивых политических институтах, может позволить ему пользоваться экономическими плодами свободы, и, наоборот, народ отсталый в политическом отношении всегда должен будет ради сохранения своей целостности довольствоваться грубой тоталитарной властью, полурабским состоянием и бедностью.

Нет никаких оснований считать, что эта закономерность утратит силу в условиях наступающей индустриальной эры. Насколько мы можем судить, человек остаётся всё тем же существом, жаждущим расширения своего "я-могу", напрягающим все духовные и физические силы, когда перед ним возникает надежда на такое расширение, и сникающим, когда эта надежда испаряется, когда он видит, что, сколько ни трудись, ничего, кроме мизерного оклада, обеспечивающего лишь самое необходимое, не получишь. Теми же остаются и правительства с их постоянной нуждой в средствах и готовностью, отнимать у трудового человека всё то, что они не в силах добыть разумной организацией народного хозяйства. Казалось бы, развитие техники и потребность в высококвалифицированной рабочей силе должны ограничивать возможности сужения социальных "я-могу", не допускать возвращения рабства, но та же техника даёт в руки центральной власти небывалые ранее средства для создания системы принуждения, для организации бесконтрольного распоряжения всем продуктом народного труда. Выход на международную торговую арену немедленно обнаруживает огромное экономическое превосходство тех государств, где труд свободен, но правительствам государств несвободных достаточно уделить лишь малую толику своих обширных средств на создание системы дезинформации, чтобы скрыть экономическое отставание не только от народа, но порой и от самих себя и достигнуть блаженного неведения Екатерины Второй, полагавшей, что у неё всякий селянин имеет курицу к обеду.

Поэтому нам следует расстаться наконец с иллюзиями и перестать надеяться, что промышленный прогресс и научно-техническая революция сами собой вывезут нас к какой-то новой свободной и богатой жизни. Свобода в индустриальном мире будет стоить так же дорого, как и раньше, и доставаться будет по-прежнему лишь тому народу, который знает ей настоящую цену и готов платить её. Над народом же, боящимся тягот и опасностей свободы, всегда будет висеть угроза рабства, называемого теперь всеобщей трудовой

Метаполитика. Ефимов Игорь Маркович filosoff.org
повинностью, нищеты, восхваляемой как преодоление "экономизма",
круглосуточного полицейского надзора, оснащённого всеми средствами радио- и
телемеханики и выдаваемого за неусыпную отеческую заботу.

3. Социальное "я-могу" и распорядительная функция

С того момента, как некое "мы" преодолает рубеж, отделяющий кочевое состояние от оседло-земледельческого, жизнь начинает ставить перед ним десятки и сотни новых задач, требующих многократного усложнения социальной структуры.

Главным кормильцем становится земля - значит, кто-то должен следить за тем, чтобы она не лежала невозделанной, чтобы усердно обрабатывалась и каждый год давала достаточный урожай.

Урожай оказывается в теснейшей зависимости от орошения - значит, кто-то должен наблюдать за уровнем воды в реках, за состоянием плотин и каналов, за своевременным и правильным распределением воды.

Со всех сторон можно ждать нападения врагов - значит, кто-то должен в любой момент быть готов выступить в поход, а кто-то проследить, чтобы доля работы воинов была выполнена другими членами "мы".

Для защиты от нападений нужно возводить стены и крепости - кому-то придётся овладеть строительными знаниями и руководить работами.

Города и крепости должны быть связаны между собой - кто-то должен распорядиться прокладкой дорог.

Западная часть страны нуждается в товарах восточной, на севере не растёт то, что растёт на юге, - кто-то должен перевозить эти товары сушей и морем.

Для дальних плаваний требуются большие корабли - кому-то надо научиться строить их, а кому-то вести через морской простор к намеченной цели.

И так, до бесконечности дробясь и множась, эти новые задачи вызывают к жизни особую социальную группу - класс распорядителей.

Всякий человек, обладающий правом решать, что, из чего, в каком количестве следует производить, а затем - кому, когда, по какой цене продавать, оказывается тем самым причастным к исполнению распорядительной функции.

Естественно, любому распорядителю должно быть обеспечено социальное "я-могу" более обширное, чем рядовому члену "мы". Прежде всего его следует избавить от необходимости трудиться наравне с другими, чтобы он имел досуг для получения специальной информации и всякого рода обработки её, то есть для обдумывания, планирования, отдачи распоряжений, проверки их исполнения. Во-вторых, ему должно быть предоставлено право распорядиться другими людьми, направлять их усилия в ту или иную сторону, воздействовать "кнутом и пряником" на нерадивых. Наконец, более обширное "я-могу" само по себе должно служить стимулом, гарантирующим рвение распорядителя, ибо никакой особой сосредоточенности, целеустремленности и отдачи энергии не могли бы мы ждать от человека, которому нечего терять, который остаётся равен всем прочим. Недостаток же энергии у одного распорядителя может оказаться чреватым для "мы" гораздо большими экономическими потерями, чем лень и безволие десяти работников.

Чем более развитым оказывается хозяйство оседло-земледельческого "мы", тем больше в нём ячеек и звеньев, тем многообразнее функции, исполняемые различными распорядителями, тем подробнее и мельче становится их специализация, тем разветвлённее иерархия. Но как бы ни было велико число профессий, разрядов и чинов, описывающих класс распорядителей, по способу обеспечения социального "я-могу" их всегда можно разбить на две принципиально отличные категории:

1. "я-могу" распорядителя целиком отнесено к должности, посту, занимаемому человеком, может быть отнято у него центральной властью и предоставлено другому - служебное "я-могу".

2. "я-могу" распорядителя целиком отнесено к личности, право собственности строго охраняется, даже центральная власть не смеет покушаться на то, чем владеет человек, - частнособственническое "я-могу".

Любое "мы", существующее ныне или ушедшее в далёкое прошлое, формировало класс распорядителей, используя обе эти категории в различных сочетаниях. И хотя примеры полного торжества одной или другой довольно редки, следует рассмотреть их отдельно, чтобы оценить преимущества и недостатки каждой.

Какая из категорий лучше, эффективнее - об этом и в жизни, и в теории, то словом, то оружием спорят несколько тысячелетий. Послушаем аргументы обеих сторон.

Во-первых, скажут сторонники служебной формы распорядительства, уже из чисто абстрактных рассуждений ясно, что человек, находящийся на службе, будет гораздо более послушным и исполнительным распорядителем, чем частный

Метаполитика. Ефимов Игорь Маркович filosoff.org
владелец. Его значительное "я-могу" обеспечено только занимаемым постом, поэтому он больше всего на свете будет бояться потерять его и постарается служить верой и правдой. Если все распорядительные должности находятся в руках центральной власти, человеку, раз опорочившему себя, очень трудно будет впоследствии найти хорошее место; естественно, ему не останется ничего другого, как изо всех сил стараться быть безупречным, не вызывать неудовольствия начальства. Повиновение становится высшей добродетелью, а это, в свою очередь, позволяет правительству пронизать всё тело "мы", каким бы большим оно ни было, чуткой чиновничье-административной сетью, получать своевременные сообщения из самых отдаленных областей, передавать распоряжения, контролировать все стороны общественной жизни.

То, что выглядит так убедительно в теории, можно подтвердить и десятками исторических примеров.

Самая могучая и древняя цивилизация – египетская – в течение первых пяти династий вообще не имеет понятия о частной собственности. Ирригационные сооружения, добыча камня и руды, руководство мастерскими, строительство, взимание избыточного продукта с населения, транспортировка его, хранение – всем ведают чиновники, находящиеся на службе фараона.

В ханьском Китае основным объём распорядительной функции также исполняется императорскими чиновниками.

То же самое в великой тысячелетней Византии.

То же самое в державе, где "никогда не заходило солнце", – в Испании XVI века.

Во франкской монархии, в Московском государстве, в османской Турции основная часть земли была разбита на участки – лены, поместья, тимары – и предоставлена в пользование не частным владельцам, а военнослужащим. Рыцарь, дворянин, тимариот должны были исправно являться к месту сбора по призыву монарха в полном вооружении – в противном случае им грозила утрата владения. Разве не ясно, что могущество Карла Великого, Ивана Грозного, Сулеймана Кануни держалось именно на такой системе?

Наконец, в нашем веке сила и прочность таких государств, как Россия и Китай, тоже говорят в пользу передачи распорядительной функции целиком в руки служилого люда.

– Всё это выглядит весьма заманчиво, – вступят тут защитники частнособственнического распорядительства. – Но давайте заглянем за фасад этих рассуждений и этих примеров. Причём оставим в стороне унижительность положения распорядителя-служащего, его раболепие, вошедшее в пословицы, его безразличие к добру и правде, если добро и правда не укладываются в циркуляры начальства. Будем рассуждать только с точки зрения государственной пользы – политической, экономической, военной.

Начнем с абстракций.

Действительно, распорядитель-служащий гораздо послушнее и удобнее, чем распорядитель-собственник. Но там, где превыше всего ценится повиновение, там инициатива, энергия, самостоятельность (главнейшие качества, необходимые распорядителю) начинают выглядеть чуть ли не пороком. Чиновник страшится любого отклонения от буквы приказа, инструкции; если он даже и увидит, как наилучшим образом исполнить дело или спасти порученную ему часть общественного достояния, он прежде всего станет прикидывать: а не рассердится ли начальство, а стоит ли вообще суетиться, пока нет распоряжений свыше? Если даже у него есть необходимые дарования и способности, он часто предпочитает скрывать их, чтобы его не заподозрили в желании обскать других. Ведь все возможности к расширению социального "я-могу" такого человека связаны со служебной карьерой, с постепенным повышением по лестнице чинов. Но повышение это происходит страшно медленно, вышестоящие умирают неохотно, на их места кидаются сразу несколько человек. Поэтому нетерпеливый распорядитель начинает использовать своё служебное "я-могу" для расширения "я-могу" лично-экономического, а попросту – воровать и брать взятки.

Послушание, исполнительность, чиновничество – всё так, но при этом чудовищная медлительность, коррупция, равнодушие к пользе дела, взяточничество – вот главные черты чиновника в Древнем Китае, Византии, Турции, России, Испании и любой другой стране, где распорядительная функция формировалась в основном служебным принципом.

Недостаток рвения приводит к тому, что технический прогресс постепенно замирает, хозяйственная жизнь хиреет. Создается странная картина – никто не оказывает неповиновения, но все приказы, циркуляры и распоряжения не достигают цели, уходят как вода в песок. Во все стороны скачут миссы франкских королей, цзяньюши китайских императоров, ревизоры русских царей, виновные распорядители теряют должность, а порой и голову, но принцип сохраняется – продолжается и оскудение. Королевские циркуляры подробнейшим образом предписывают, сколько подметок должно быть у башмака, как обшивать

куртки мехом, куртки расползаются по швам, земля не родит, скот паршивеет. Люди много и напряженно трудятся, но все их усилия без должного руководства заинтересованным распорядителем тратятся почти впустую. Население стонет под гнётом новых налогов, а в казну почти ничего не попадает – все поступления уходят на содержание бюрократического аппарата, созданного для выжимания тех же налогов. Главная же опасность состоит в постепенном ослаблении центральных связей и упрочении местных. Чиновник всё чаще предпочитает подчиняться непосредственному начальнику, у которого он постоянно на глазах, а не закону, изданному где-то далеко в столице, – возникает реальная угроза феодального распада. Ибо феодализм (так же, как и рабовладение) – отнюдь не формация, а определённое состояние общества, наступающее в тот момент, когда принцип повиновения человека человеку полностью вытесняет принцип повиновения закону.

Примеры, приводившиеся вами (защитниками распорядителя-служащего), оборачиваются против вас же.

Египет. Блестящий период Раннего царства завершается феодальным распадом на номы, когда каждый номарх настолько независим от фараона, что не платит податей, на войну отправляется когда захочет, а летосчисление ведёт годами своего собственного правления. Первая половина второго тысячелетия до Р. Х. – типичный феодализм, завершающийся вторжением гиксосов, правивших в Египте около ста лет. "Пришли нечаянные люди низкого происхождения с восточной стороны, обладавшие достаточной смелостью, чтобы идти походом на нашу страну, и насильно покорившие её без единой битвы" [10, т. 1, с. 226]. Когда же Яхмос Первый изгоняет гиксосов и Египетское царство возрождается в ещё большем блеске, мы находим в нём уже рядом с чиновничьим управлением владение землей и собственностью с правом продажи и передачи по завещанию – класс распорядителей-собственников. Мало того – и с чиновников собирается налог золотом, серебром, полотном и прочим, что указывает на существование у них самостоятельных источников дохода, независимых от казны.

Китай времён Младшей Хань. Во II веке после Р. Х. коррупция чиновничьей системы доводит страну до того, что свободным людям не остаётся иного спасения от налогового грабежа, как отдаваться под власть сильных домов. За сто лет количество налогоплательщиков уменьшилось с 60 до 7,5 миллиона человек. "Площадь пахотных земель катастрофически сокращалась. Торговля замерла. Начался упадок товарно-денежных отношений. Огромные поместья феодализирующейся знати, где производились все необходимые продукты земледелия и ремесла, постепенно превращались в замкнутые экономические единицы" [68, т. 2, с. 537]. За этим последовало восстание "жёлтых повязок", страшные междоусобия, распад империи на три царства, затем вторжение гуннов, тибето-тангутов, жужаней, двухсотлетнее господство сяньбийцев.

Франкское королевство. "В начале средневековья обе системы институтов существовали как бы рядом. Внутри одной люди повиновались государственной власти, общим законам, общей администрации – то была монархия. Внутри другой они повиновались индивидуально друг другу, в силу личного и добровольного договора – то был феодализм... Граф зависел от короля, но в своем графстве он сам оказывался королем... В самом деле, довольно будет того, чтобы узы, связывающие графа с королем, порвались или только ослабели – и граф делается независимым феодалом, причём в графстве ничего не изменится: ни местное население, ни персонал чиновников не послужат препятствием для такого процесса... Любопытно, что развитие сети [королевских чиновников в каролингскую эпоху] произошло именно накануне того дня, когда восторгается над государством феодализм" [81, т. 6, с. 689, 545, 533]. Вся Европа, впавшая в феодальное состояние, сделалась легкой добычей норманнов и арабов.

Византия. В течение многих веков сохраняет римский принцип осуществления распорядительной функции, искусно разделяя её между чиновниками и собственниками, и за это время, несмотря на тяжкие вероисповедные смуты, победоносно отражает натиск гуннов, аваров, славян, болгар, арабов, русичей. Но "в XI веке резко изменяется политика византийских царей... Казённые имения, пустопорожные и населенные крепостными, отдаются в пронию чиновникам и сановникам (властелям), получающим их в пожизненное владение... За это прониар обязывается нести военную службу и платить подати за своих крестьян... Не рассчитывая передать пронию в наследство детям, (он) не имел особых побуждений улучшать её в хозяйственном отношении, крепостных не щадил, заботился только о том, чтобы извлекать больший доход... Жадность к стяжанию, своекорыстие, бессовестная готовность на всякий обман и незаконную подделку составляли общее свойство сословия властелей по свидетельству самих византийских государей" [5, с. 644, 623]. Именно в это время турки-сельджуки захватывают почти всю Малую Азию.

Метаполитика. Ефимов Игорь Маркович filosoff.org
Понадобилась столетняя работа разлагающего феодализма, чтобы в 1204 году сделать наконец возможной победу Энрико Дондоло (венецианского дожа), захватившего с горстью французских и немецких крестоносцев неприступный Константинополь.

Другие империи, заранее чувствуя опасность, пытались хотя бы частично превратить служебное "я-могу" распорядителя в "я-могу" личное. В Китае и Испании широко практиковалась продажа чинов, рангов и должностей. В Турции "уже при Османе было запрещено без причины отнимать тимары... и установлено, что тимар после смерти его владельца должен перейти к сыну, но с условием, что сын будет выполнять те же военные обязанности" [56, с. 34]. Также и в России: поместье сначала передаётся сыну, затем постепенно превращается в полную собственность дворянина, а в XVIII веке указ о вольности дворянской освобождает владельца даже от обязательной службы, полностью превращает в распорядителя-собственника.

Что же касается примеров социалистических стран, то, спору нет, весьма удобно иметь распорядителей настолько послушных, что они по команде начинают сеять кукурузу по всей необъятной стране или строить крохотные домашние домны в каждом дворе. Но ведь скот не накормишь лозунгами, промышленности нужен высококачественный металл, а не любовь к председателю Мао, - приходится обращаться туда, где распорядительная функция выполняется собственниками.

Таковы политические и экономические "выгоды". Остается ещё военный аспект.

Действительно, класс распорядителей особенно важен для существования любого "мы" тем, что из него формируется боеспособное ядро армии или по крайней мере офицерский состав. Это и понятно - только человек, обладающий значительным "я-могу", будет сражаться не щадя себя ради сохранности "мы", которое это "я-могу" обеспечивает. Почти во всех странах, о которых идёт сейчас речь, торжество принципа повиновения позволяло быстро собрать под знамена монарха огромное войско. Но гораздо труднее было заставить это войско сражаться.

Так, туркам для победы, как правило, требовалось многократное численное превосходство над противником. Двукратного превосходства над монголами в 1243 году у Кеседага им, как известно, не хватило. При штурме Константинополя в 1453 году Мухаммед Второй, имевший стотысячную армию, построил весь расчёт на том, что защитники города (пять тысяч итальянских наёмников и пять тысяч греков) просто устанут рубить тысячи башибузуков, посылавшихся на стены волна за волной. В 1683 году 175-тысячное турецкое войско потерпело сокрушительное поражение от 13 тысяч защитников Вены и 25 тысяч подоспевших поляков.

В египтянах воинственный дух обнаруживается только в период империи (походы Тутмоса Третьего и Рамзеса Второго в Азию), то есть именно в период появления класса распорядителей-собственников. После этого периода войско формируется в основном из наёмников, военачальники которых в конечном итоге свергают фараонов и учреждают собственные династии - ливийскую, эфиопскую.

Московское дворянское ополчение - это именно то войско, с которым Иван Грозный утратил все западные завоевания своего деда, которое пустило при нём же крымских татар в Москву (что стоило России до 800 тысяч убитых и угнанных в полон), которое топталось в 1612 году у стен Кремля, пока казаки не взяли приступом Китай-город и не прогнали у Волоколамска короля Сигизмунда. "Открытый бой с поляками в чистом поле, - пишет Гваньини, - очень редко удаётся московскому войску... Первый натиск старались произвести как можно стремительнее и сильнее, но не выдерживали долгой схватки, как будто говоря врагам: "...бегите, не то мы победим..." [37, с. 106]. Постоянная же экспансия России на юг и восток осуществлялась силами всё того же казачества, то есть распорядителя-собственника.

Так что и с военной точки зрения распорядитель-служащий оставляет желать много лучшего.

- Что же вы предлагаете? Неужели опять священное право собственности, частная инициатива, свобода рыночных отношений, игра цен, спрос и предложение, гонящиеся друг за другом, господство предпринимателя, денежный капитал как полное и единственное выражение социального "я-могу"?

- Да, да, и ещё раз да! - воскликнет противник служилого распорядительства. - До тех пор пока экономическое и военное могущество будут считаться важными факторами бытия "мы", распорядитель-собственник останется оптимальным решением проблемы.

Взглянем на дело чисто теоретически.

Кто будет больше радеть о доходности имения - владелец, надеющийся передать его детям, или управляющий, которого сегодня назначили сюда, завтра - туда, а послезавтра вообще сняли? Для кого качество и количество изделий станет кровным делом - для хозяина мастерской или для назначенного

Метаполитика. Ефимов Игорь Маркович filosoff.org
властями заведующего? Кто станет активнее искать возможностей применения капитала – банкир или государственный служащий на окладе? Можно брать наугад любую распорядительную профессию и продолжать эту цепь риторических вопросов до бесконечности.

Ясно, что распорядитель-собственник, которому закон гарантирует обширное и неприкосновенное "я-могу", будет не только энергичным деятелем, но и рьяным защитником закона, то есть и самого "мы", и будет оборонять его с оружием в руках от внешних и внутренних покушений. Ясно, что в нём будет развиваться чувство гордой независимости, уважение к свободе. Ясно, что он будет по необходимости честен в деловом отношении, ибо украсть он сможет только у себя. Ясно, что недостаток способностей и энергии в условиях конкурентной борьбы немедленно обнаружится и заставит его уступить место более способному. Даже такой пассивный вариант распорядителя, как рантье или держатель акций, сам ничего не делая, выполняет весьма важную функцию – следит, чтобы капитал в стране не тратился нерентабельно, перетекал посредством перепродажи акций от предприятий слабых, недоходных, к предприятиям более перспективным.

То, что так самоочевидно в теории, подтверждается всей мировой историей. Где бы ни столкнулись мы с феноменом стремительного расцвета и подъёма какого-нибудь государства, всюду ему будет предшествовать возникновение широкого слоя распорядителей-собственников. Вавилон и Тир, Карфаген и Тарент, Афины и Рим, Венеция и Генуя, Новгород и Псков, Соединенные провинции Голландии и Соединённые Штаты Америки – богатство и мощь этих республик неизменно связаны с торжеством принципа неприкосновенности социального "я-могу" каждого гражданина, то есть частнособственнического принципа.

Не устаёшь поражаться тому, насколько силы этих стран непропорционально велики по отношению к исходным людским ресурсам.

Маленький город Тир долгое время держит в своих руках всю торговлю в бассейне Средиземного моря; в начале VI века до Р. Х. Навуходоносор II покорил огромные страны, но Тир взять не мог, несмотря на упорную осаду.

Афины, где число свободных граждан не превышало 50 тысяч человек, через полвека после падения тирании и реформ Клисфена (509 год до Р. Х.) становятся столицей цивилизованного мира.

Рим к моменту принятия законов Секстия и Лициния (367 год до Р. Х.) – едва заметное пятнышко на берегу Тибра; через сто лет он повелевает всей Италией.

Тарент богат настолько, что может нанять для борьбы с Римом ни много ни мало армию самого Пирра.

Генуя так уверена в своих силах, что, когда византийский император "Иоанн Кантакузин сделал попытку частично восстановить свой флот и таможенные ограничения, генуэзцы, не колеблясь, атаковали Константинополь (1349) и сожгли строящиеся корабли" [25, с. 128].

Венеция, имевшая (по данным 1423 года) 190 тысяч жителей, стояла по военной мощи в ряду мировых держав, а по богатству превосходила многие.

"С тех пор как в соседстве с Псковской землей объединилась Литва и основался Ливонский орден, Псков, стоя на рубеже Русской земли, в продолжение трёх веков ведет с ними упорную двустороннюю борьбу, располагая средствами своей небольшой области... при двусмысленном и нередко прямо враждебном отношении Новгорода" [36, т. 2, с. 92].

В огромной империи Карла V Фландрия давала половину всех доходов; Северные же провинции, вырвавшись из-под власти Испании, стали той самой Голландией, чей флаг развевался на всех морях, той Голландией, которая в конце XVII века в одиночку выстояла в войне против Англии Карла II и Франции Людовика XIV.

Наконец, взлёт Соединённых Штатов Америки, начавшийся после войны за независимость (1783 год, около трёх миллионов человек) и продолжающийся до сих пор, поднял их мощь и богатство на такую высоту, что ни одна страна в мире не может сравниться с ними.

Любопытно отметить, что частнособственническая форма распорядительства могла в сфере экономики компенсировать даже непроизводительность рабского труда; служебная же форма в соединении с рабством почти нигде не встречается, ибо такое соединение должно было приводить к полному экономическому краху. Примечательно также, что могущество упомянутых выше республик не обязательно выражалось в оккупации чужих земель. Многие из них ограничивались тем, что, захватив в свои руки торговлю, промышленность и финансы соседних стран, делались в этих странах распорядителями, не сливаясь с их народами, оставаясь самостоятельным политическим организмом. Финикийцы, афиняне, венецианцы, голландцы часто вступали в войну не ради территориальных приобретений, а ради того, чтобы защищать свои торговые колонии и фактории, своих граждан в других странах, свои таможенные

Метаполитика. Ефимов Игорь Маркович filosoff.org
привилегии, свои торговые пути, свои монопольные права на перевозку и производство товаров. Они часто поставляли соседям не только торговцев, промышленников и финансистов, но и воинов. Греческие наёмники на службе у персидских царей, итальянцы – у византийских императоров и испанских королей, голландцы и немцы – в московском войске представляли собой (при условии исправной выплаты жалования) грозную военную силу. При защите же собственного отечества эти люди делались практически непобедимыми.

Непобедимыми? (Мы снова слышим голос сторонника служилого распорядительства.) Если их никто не мог победить, куда же они делись, эти прославленные, республики? Где Афины, где Тарент, где Венеция, Новгород, где вольные немецкие и итальянские города? Молчите? Так я попробую объяснить.

Все примеры стремительного взлета на вершины славы и процветания, приведённые здесь, – все они верны. Но ни слова не сказано о том, чем пришлось платить за такой взлёт. Платить же пришлось тяжелой и в конечном итоге смертельно опасной ценой – гигантской пропастью социального неравенства, раскалывавшей все эти общества на непримиримые партии.

Начинали они, казалось бы, с торжества равенства и справедливости. Вся земля разбивается на равные участки, каждый сеет весной, осень собирает урожай – чего проще? То неравенство, которое неизбежно есть между людьми – один сноровистей, энергичней, экономней, опытней другого, – поначалу незаметно и проявляется лишь в незначительной разнице благосостояния. Но при свободе торговли, в условиях развитого денежного обращения процесс этот идёт непрерывно и необратимо. Выигрывая каждый раз лишь небольшую толику, один, прикупая землю, нанимая работников, получает возможность распоряжаться всё большей частью общенационального достояния, другой – всё меньшей. Проходит десять, двадцать, тридцать лет, и последний превращается из самостоятельного землевладельца в должника – арендатора у соседа, а то и просто в батрака.

В промышленном государстве такое расслоение происходит за счёт перераспределения прибылей еще быстрее. Тот, кто получает меньший доход от торгового или промышленного предприятия, вынужден постоянно сокращать производство, терять основной капитал, уступать часть за частью своё состояние более удачливому конкуренту. Удачливый же разбухает, растёт, становится латифундистом, денежным мешком, миллионером. Правительство, чуя опасность, пытается ограничить допустимые размеры владений (не больше 500 югеров), вводит налоги на роскошь, на наследство, на сверхприбыли – всё тщетно. Нужен очень небольшой в историческом отношении срок для того, чтобы распорядительная функция, распределённая поначалу между равноправными гражданами, перешла целиком в руки нескольких сотен богатых землевладельцев и капиталистов, окружённых ненавистью разорённых и безземельных людей.

Именно такая картина и складывалась во всех упомянутых республиках, именно социальное неравенство становилось причиной их внутреннего раскола, ослабления, гибели.

Афины при всей своей политической мудрости не избегли судьбы прочих греческих полисов – страшных внутренних раздоров. Жадность богатых широко распахивала двери надвигающемуся рабовладению, разоряемая беднота мстила им в Народном собрании, возлагая на них все расходы на празднества и строительство флота, политические демагоги всех мастей играли на этих страстях даже в моменты военной опасности. Изгнание самых способных вождей и казнь стратегов, победивших в морском бою у Аргинусских островов, обеспечили победу спартанской коалиции в Пелопоннесской войне. Денежная и наследственная аристократия, борясь за своё существование, не видела другого выхода, кроме заговоров и переворотов, сопровождавшихся обратным террором и казнями. Всё общество, измученное усобицами и отчаявшееся найти своими силами выход из тупика, начинало искать помощи на стороне и чуть ли не с надеждой ждал прихода спартанцев, македонян, римлян.

Побоища, устраивавшиеся враждующими партиями на вече и на мосту через Волхов, – вот характернейшая черта новгородской вольницы. "Противоречие, укоролившееся в политическом строе Новгорода, привело к тому, что этот вольный город оставался в руках немногих знатных фамилий богатых капиталистов. У новгородского веча мятеж был единственным средством сдерживать правительство, когда оно, по мнению народа, угрожало народному благу... Смуты, какими социальная рознь наполняла жизнь Новгорода в продолжение веков, приучали степенную и равнодушную часть общества не дорожить столь дорого стоившей вольностью города... В 1471 году, начав решительную борьбу с Москвой и потеряв уже две пешие рати, Новгород наскоро посадил на коней и двинул в поле 40 тысяч всякого сброда, гончаров, плотников и других ремесленников... На Шелони четырех с половиной тысяч московской рати было достаточно, чтобы разбить наголову эту толпу, положив тысяч 12 на месте" [36, т. 2, с. 101].

Улицы итальянских городов-республик обгагрлись кровью то гвельфов, то гибеллинов чуть ли не каждый год, и любой завоеватель всегда мог рассчитывать на то, что одна из враждующих партий откроет ему ворота, что и случилось много раз.

В Германии, "и особенно в прирейнских городах, борьба [между "старшими" и "молодшими" гражданами] была особенно ожесточённой, так как там господство старших бюргеров было полным. В Кельне ремесленники были приведены чуть ли не в рабство, а купцы в Брюсселе могли давать когда им угодно пощечины человеку, живущему своим трудом. Подобная общественная тирания одного класса над другим порождала в германских городах в течение целого века кровопролития" [20, т. 1, с. 177]. И в наши дни ни многие страны Европы, ни даже сама великая Америка накануне своего двухсотлетия не могут похвастаться социальным миром и внутренней устойчивостью.

К сожалению, эту критику частнособственнической формы распорядительства мы тоже должны признать серьёзной и справедливой.

Но при всех обоюдных недостатках кто же всё-таки перспективнее для "мы" - распорядитель-собственник или распорядитель-служащий?

Ни политическая теория, ни политическая практика не могут до сих пор дать однозначный ответ на этот вопрос. В истории любого государства мы можем найти лишь эмпирические попытки использовать то один, то другой метод, видим моменты изменения социальной структуры как в ту, так и в другую сторону.

Например, расширение частнособственнической сферы распорядительства в Риме доходит до того, что даже такие важные государственные функции, как взимание налогов и таможенный сбор, были переданы в руки частным откупщикам. "За такие предприятия могли браться, конечно, только крупные капиталисты и преимущественно крупные землевладельцы, потому что государство было очень требовательно насчет материального обеспечения" [51, т. 1, с. 252]. Всё больше обогащаясь, они постепенно захватили огромные территории. "Будучи по праву собственностью государства, эти территории фактически оказались во владении 400 или 500 знатных римских фамилий; затем под ними на тех же землях располагалось несколько миллионов свободных людей, италийцев или провинциалов, которые занимали землю как бы вторично... Аграрные законы Гракхов не были враждебны частной собственности; они стремились, наоборот, установить частную собственность там, где она не существовала. Все они касались громадных земель, которые государство допустило захватить без права. Они отнимали государственные земли у тех (латифундистов), которые владели ими по милости государства, с тем чтобы раздать, их частным лицам (римским гражданам) на полном праве собственности" [81, т. 5, с. 114, 118].

После того как Гракхи потерпели поражение, стремительный рост неравенства и столетняя гражданская война первого века до Р. Х. настроили общественное сознание таким образом, что порядок и устойчивость стали цениться превыше всего, даже превыше неприкосновенности социального "я-могу". При империи количество государственных служащих на жалованье неуклонно возрастает. "Откупщики были поставлены под контроль и в дальнейшем перерождаются в простых чиновников" [77, с. 220]. Теперь даже крупные богачи стремятся получить какой-нибудь пост, ибо служебное "я-могу" начинает значить всё больше и больше. Для этого они окружают себя толпой клиентов, которые должны обеспечить им вес и влияние, победу на выборах. Но отношения между патроном и клиентом - покровительство с одной стороны, преданность и послушание - с другой - это точная копия отношений между сеньором и вассалом. Так же и в сфере землевладения повсеместная практика прекария, когда земледелец обрабатывает участок лишь до тех пор, пока на то будет милость владельца, является прообразом бенефициальных отношений феодальной эпохи. В законах ничего не говорится ни о клиентах, ни о прекаристах, ибо их существование обусловлено не общегосударственным правом, а личными связями между людьми, связями, которые, судя по всему, обеспечивали более надёжную защиту, чем закон. И точно так же, как раньше над Египтом, а впоследствии над Франкским королевством, над поздней Римской империей нависает угроза ослабления центральных связей, угроза феодального распада.

Другой пример - Испания. История этой страны в XV-XVII веках являет собой картину постоянных метаний, удручающей непоследовательности в устройстве распорядительной функции. Крестьяне Кастилии, Леона и Каталонии получают полную свободу, в то время как крестьяне Арагона остаются в полном рабстве у своих сеньоров. Городам даются привилегии, а промышленность душат мелочной регламентацией, каждый год выпускаются десятки королевских указов, диктующих, как и сколько может производить тот или иной цех, "продукция подвергается стольким осмотрам, что любые изделия, поступающие на продажу, имели три печати мастерской и четыре печати органов общественного надзора"

Метаполитика. Ефимов Игорь Маркович filosoff.org
[1, т. 1, с. 490]. Собственность охраняется законом, но идут непрерывные конфискации, имущества по приговорам инквизиции, и целые народы – евреи (около 500 тысяч человек), мориски (около миллиона), туземцы колоний (многие миллионы) – подвергаются изгнанию, ограблению, уничтожению. Барселонские советники 1492 года дают такой наказ преемникам: "Пусть будущие советники вспомнят, как из-за инквизиции, учрежденной когда-то в городе, возникло множество затруднений для торговли, произошло уменьшение городского населения и причинён был иной непоправимый ущерб общественному благу, пусть они помнят, что так будет продолжаться и впредь, если не обнаружится какое-нибудь целительное средство" [1, т. 1, с. 494]. Но единственное целительное средство, которое могли придумать испанские властители, состояло в расширении сети чиновников, в усугублении централизации и контроля. В конечном итоге восторжествовала "огромная бюрократическая машина, поглощавшая все силы страны и порождавшая бешеную погоню за должностями; система камарилей и фаворитизма, под прикрытием которой шёл бесстыдный обман государства; развал финансовой системы..." [1, т. 2, с. 211]. Распорядительная функция, узурпированная почти целиком духовенством и чиновничеством, превратилась в удобный способ паразитирования, в раковую опухоль, низведшую великую нацию на дно нищеты, голода, невежества, бесправия и беспомощности, всю меру ужаса которых можно ощутить разве что по гравюрам Гойи.

Россия за последние четыреста лет перепробовала, кажется, все формы распорядительства. Чудовищная централизация власти при Иване Грозном шла рука об руку с низведением всех социальных "я-могу" до минимума. Частная собственность была настолько не обеспечена, что англичанин Флетчер, посетивший Россию в 1589 году, мог вставить в свою книжку обширную главу, называвшуюся "О способах ограбления подданных" [79, с. 48]. В этой книге между прочим упоминается об обширном торгово-промышленном товариществе братьев Аникиных, умевших поставить дело с таким размахом, что у них по временам "работало до 10 тысяч нанятого народу. Недолгое время братьям удавалось укрываться у себя в Вычегде от длинных лап царя Ивана, который время от времени отбирал у них помимо податей денежные "подарки" тысяч, по двадцать зараз, пока не разорил вконец. Системой непрерывного сыска, постоянным перемещением воевод и приказных с места на место (воеводу меняли не реже чем раз в три года, чтоб не успел врасти корнями, набрать силу) московскому правительству, удалось избежать опасностей феодализации, зато разорение и ослабление страны было полным. Тягостное зрелище этого разорения впоследствии отшатнуло всю мыслящую и деятельную часть русского общества на сторону Петра, с которого и начинается обратное движение – медленное, но непрерывное расширение социального "я-могу" распорядителя. Льготы купцам и промышленникам, закрепление за помещиками права собственности на землю, указ о вольности дворянской, упорядочение прав мещанского сословия, наконец, освобождение крестьян – всё это позволило России в конце XIX века догнать цивилизованный мир по уровню культуры, богатства, военной мощи. Но неизбежное следствие расширения сферы частнособственнического распорядительства – бездна социального неравенства – подкарауливало политически незрелое "мы", и на "въезде" в индустриальную эру русскую "птицу-тройку" тряхнуло в 1905-1930 годах с такой силой, что распорядитель-собственник был растоптан, смят, уничтожен и сама мысль о возможности его возврата объявлена преступлением.

Наши воображаемые спорщики, находясь на противоположных полюсах политического мышления, естественно, оставили без внимания промежуточную форму распорядительства – корпоративную. Между тем во многие исторические эпохи на корпорациях лежала значительная доля выполнения распорядительной функции. Храмовые и монастырские хозяйства – вот самый яркий пример такого решения проблемы. Другой пример – сельская община, владеющая землей сообща, связанная круговой порукой, облагаемая податью как самостоятельная хозяйственная единица. То же самое можно сказать о средневековых цехах. Принципиальное значение перехода от цехового производства к мануфактуре состоит не в усложнении техники (она может поначалу оставаться на том же уровне), не в усугублении разделения труда, а в переходе распорядительной функции от совета старейшин к частному владельцу.

И снова я вынужден заметить: в переходе этом не было никакой необратимости, он совершался и в ту, и в другую сторону много раз.

Пока производство было организовано в виде мелких единиц, им вполне мог управлять один человек, как, например, отец Демосфена, имевший в ту бурную эпоху не так уж много досуга для занятия своими мастерскими – оружейной и мебельной. Когда же укрупнение оказывалось рентабельным, сочетать его со свободой труда удавалось только цеховой организации. Цех должен был следить за качеством продукции, за колебаниями цен, обеспечивать равномерное снабжение сырьём, хранение, сбыт, порой даже охрану своих помещений и своих

Метаполитика. Ефимов Игорь Маркович filosoff.org
работников – ясно, что сил одного человека на всё это не хватало. Но жизнь двигалась дальше, во многих странах успехи цивилизации приводили к тому, что развитая торговля могла гарантировать бесперебойные поставки сырья и сбыт продукции, социальный порядок обеспечивал рынок квалифицированной рабочей силой, законность – права собственника, образование способно было дать нужный объём специальной информации, – тогда снова распорядительная функция могла перейти к частному владельцу и использовать все преимущества этой формы, как, скажем, в Англии времён промышленного переворота.

В наши дни маятник этот опять пошёл в обратную сторону. Невероятное усложнение и укрупнение производства, оказавшееся неизбежным при создании самолётов, авианосцев, ракет, турбин, экскаваторов и прочего, снова потребовало замены индивидуального руководства коллективным. Даже в Америке около половины всей производственной мощи перешло в руки гигантских корпораций, управляемых не частными владельцами, а советами директоров – "техноструктурой", получающих твердые оклады от самой фирмы и не заинтересованных в погоне за сверхприбылями. Форд, пытавшийся противиться этому процессу, чувствовал, что реальная власть утекает из его рук, увольнял своих способнейших администраторов одного за другим и довёл фирму до того, что в начале сороковых годов ставился вопрос о её национализации, но в конце концов и он должен был уступить руководящую роль совету директоров. И хотя корпоративное распорядительство чревато некоторым снижением экономической эффективности, оно всё же лучше, чем полное торжество распорядителя-служащего. Свидетельство тому – успехи корпоративной экономики Югославии.

Все рассмотренные выше аспекты различных форм распорядительной функции позволяют сделать следующий вывод.

Расширение сферы частнособственнического распорядительства даёт немедленное возрастание экономической и военной мощи "мы", но полное господство этого принципа, торжество рыночно-денежных отношений чревато стремительным ростом неравенства, уменьшением числа реальных распорядителей, экономическими кризисами, социальной враждой, политической неустойчивостью и в конечном итоге ослаблением "мы".

Передача распорядительной функции в руки чиновно-служилого аппарата даёт возможность стабилизировать положение, укрепить центральную власть, подавить внешние выражения вражды, связать огромные массы людей в единое "мы", но подобное сужение "я-могу" распорядителя резко уменьшает отдачу его энергии, неизбежно ведет к экономическому спаду, к ослаблению боевого духа нации, так что в перспективе стабилизация может обернуться полным умиранием "мы" или феодальным распадом.

Поэтому задача политического мышления состоит не в том, чтобы остановиться на той или другой форме, а в том, чтобы, ясно сознавая выгоды и опасности, заложенные в каждой, вырабатывать применительно к текущему историческому моменту оптимальное их сочетание.

Прослеживая историю видоизменений распорядительной функции, можно заметить примечательную закономерность: полное оттеснение распорядителя по праву собственности распорядителем по долгу службы можно встретить только в моменты перехода "мы" из одной эры в другую. Таким предстаёт перед нами Древний Египет в начале своей оседло-земледельческой поры, таким же, судя по всему, был поначалу Древний Китай, не было собственников и в Мексике к моменту её открытия европейцами. "Ни перуанцы, ни ацтеки и вообще ни одно индейское племя в период открытия Америки не дошло ещё до представления о частной собственности на землю и передаче её по наследству" [54, с. 64]. Франки, норманны и турки, переходя к оседло-земледельческому существованию, тоже не могли придумать ничего иного, кроме превращения земельных участков в плодоносные источники "окладов" для военнотружущих. Дорийцы, осевшие в Пелопоннесе, очень скоро испытали на себе все бедствия, связанные с неограниченным торжеством частной собственности. "Господствовало страшное неравенство, толпы нищих и нуждающихся обременяли город, а все богатства перешли в руки немногих... Ликург, дабы изгнать наглость, зависть, злобу, роскошь, богатство и бедность, уговорил спартанцев объединить свои земли, а затем... хранить имущественное равенство, превосходства же искать в доблести" [6, т. I, с. 59]. Превратив таким образом всех распорядителей в граждан-солдат на постоянном "пайке", поставленном илотами, спартанцы добились стабилизации своего общества примерно на пятьсот лет. Какой ценой – это, конечно, другой разговор. Заглядывая сейчас из XX века в далёкое прошлое, нам нетрудно представить себе, какой опасной нелепостью должна была показаться древнему египтянину, вавилонянину или китайцу передача ирригационных сооружений в руки частных лиц или древнему мексиканцу – поручение строительства пуэбло чьей-то личной инициативе. Ибо мы тоже переживаем момент вступления в новую эру – индустриальную, и общественному сознанию наших дней тоже кажется в высшей степени рискованным ставить такие

Метаполитика. Ефимов Игорь Маркович filosoff.org
отрасли хозяйства, как, например, железнодорожный транспорт, энергоснабжение, тяжёлое машиностроение, добычу ископаемых, в зависимости от произвола частного собственника, от неуправляемой стихии рыночных отношений. В памяти у нас слишком свежи мировые кризисы, мировые войны и такие всплески взаимной вражды, зависти, ненависти и злобы, которые под именем революций парижской, японской, китайской, турецкой, германской, русской, мексиканской, испанской, греческой, египетской, вьетнамской и прочих навсегда останутся в мировой истории кровавой метой на стыке двух эр. Именно осознание этой опасности привело к столь заметным победам социализма, в одних странах – к полным, в других – к частичным, выразившимся в национализации многих отраслей промышленности, в приходе к власти социалистических партий, в расширении плановой и корпоративной экономики.

Да, спорить с этим не приходится: во всём мире сейчас распорядитель-служащий заметно теснит распорядителя-собственника. Однако было бы наивностью выдавать этот факт за его окончательную историческую победу. Даже в тяжелой индустрии и крупносерийном производстве, где распорядитель-собственник оказался явно несостоятельным, он был с бóльшим успехом заменён не служащим, а корпорацией. В сферах же лёгкой промышленности, мелкосерийного производства, торговли, обслуживания все преимущества частнособственнического принципа обнаруживают себя с небывалой ранее наглядностью. В сельском хозяйстве владельцы небольших ферм тоже ухитряются получать от земли во много раз больше, чем чиновники, управляющие гигантскими колхозными латифундиями. Не следует также забывать, что кроме права собственности могут быть изысканы другие способы закреплять социальное "я-могу" не за местом, а за личностью распорядителя, например: замена твёрдого оклада скользящим, зависящим от стажа, образования, проявленных способностей, успехов управляемого предприятия, или предоставление каких-то неденежных льгот за определённый объём заслуг перед обществом.

Зато все опасности, заключенные в чиновничьей форме распорядительства, грозят оказаться в индустриальную эру еще более серьёзными, чем когда-нибудь раньше. Если труд современного рабочего довольно легко поддается нормированию, учёту и справедливой оценке, то деятельность распорядителя практически ускользает от эффективного контроля. Директор современного завода, начальник строительного управления, заведующий банком – каждый из них своим небрежением или бездарностью может нанести экономике гораздо больший урон, чем двадцать чиновников земледельческой эры. Коррупции и взяточничеству нет больше нужды реализовываться в набитых золотом кисетах или пачках денег, передаваемых из-под полы: достаточно поставить две-три "законные" подписи на нужных бумагах – и все участники сделки дружно загребают из бездонного кармана государства. Специализация производства, невероятное усложнение техники превращают любую систему ревизий и проверок в бесплодную трату средств, ибо такие проверки требуют от ревизоров непосильно большого объёма специальных знаний. Новые средства связи и сообщения дают, конечно, огромные возможности для централизации государства, но полное торжество принципов подчинения человека человеку, упрочение личных отношений в чиновничьей иерархии может вызвать к жизни угрозу распада "мы".

Международная напряженность сдерживает пока всякие центробежные и сепаратистские тенденции.

Однако рост миролюбивых устремлений в мире, усиление роли международных организаций, успехи разоружения – всё это может привести в обозримом будущем к реальному ослаблению военной опасности. И вот тогда-то мы и увидим то, что многим сейчас покажется невероятным, – индустриальный феодализм.

Экономические предпосылки к этому проглядывают в особенностях организации многих современных фирм. Наподобие того, как раньше сеньор мог оказывать своим вассалам и сервам более существенную поддержку и покровительство, чем слабеющая королевская власть, так и теперь в некоторых странах служащий и рабочий чаще вынуждены обращаться за помощью к своей фирме, чем к государству. Социальное обеспечение, жилищное благоустройство, медицинское обслуживание, присмотр за детьми, организация досуга – всё это крупная фирма постепенно берет на себя, привязывая тем самым человека всё прочнее к себе и ослабляя его зависимость от государства. Больше того: в странах, где основной объём распорядительства выполняется чиновниками, рынок никогда не может обеспечить своевременные поставки сырья и вспомогательного оборудования, поэтому там каждое крупное предприятие стремится обзавестись собственными подсобными конторами и цехами, пусть неэффективными, нерентабельными, зато своими, приближаясь постепенно по сути своей к тому, что в средние века называлось "натуральным хозяйством".

Политические предпосылки феодализации также могут быть обнаружены без всякого труда.

С тех пор как земля перестала быть главным источником богатства, государства гораздо меньше вожделяют к чужим территориям. (Недаром, вступив в индустриальную эру, большинство европейских стран довольно легко расстались со своими колониями.) Поэтому не сдерживаемая страхом вражеского вторжения чиновничья сеть может однажды перестать поддерживать центральную власть, распадётся на отдельные звенья или кланы мафиозного толка, каждое звено установит в доставшейся ему "самостоятельной" области военную диктатуру, превратится в паразитирующую прослойку, получающую в виде бенефициев не деревни и сёла, а заводы, фабрики, порты, шахты, гаражи, аэродромы. Если раньше такое "мы" вскоре поплатилось бы за свою политическую близорукость утратой самостоятельности, то теперь оно может быть надолго оставлено загнить и агонизировать в полной изоляции, как оставлено какое-нибудь злосчастное Гаити. Но так или иначе сужение "я-могу" распорядителя до сугубо служебных рамок и в индустриальную эру не пройдёт безнаказанно - в этом мы можем быть твёрдо уверены.

Социальное "я-могу" и власть

Границы-запреты, образующие социальное "я-могу" работника или распорядителя, в значительной мере устанавливаются и удерживаются силами центральной власти. Власть издаёт законы, власть формирует аппарат управления, власть карает всякого, кто попытается преступить границу-запрет. Любые попытки подданных изменить своё социальное "я-могу" выражаются в том или ином давлении на правительство, а когда правительство не поддаётся давлению, в обществе возникают революционные тенденции, укрепляется мысль о необходимости свержения правительства и замены его новым.

Но, новая или старая, передовая или реакционная, сильная или слабая, власть не может быть вручена каким-то надчеловеческим существам - ни древним оракулам, ни современным компьютерам. Как и все прочие функции "мы", она имеет единственно возможного исполнителя - человека или группу людей - и, следовательно, может быть описана через социальное "я-могу" власть имущих так же, как другие функции были описаны через социальное "я-могу" трудящихся и распорядителей.

От раба до самостоятельного хозяина - вот диапазон изменения социального "я-могу" трудового человека.

"Я-могу" завмага, торгующего по государственным ценам, и "я-могу" владельца торговой конторы, подчиняющегося только законам рынка, - вот примеры двух крайних вариантов устройства распорядительной функции.

"Я-могу" выборного члена народного собрания, парламента, конгресса, стортинга, кнессета, с одной стороны, и "я-могу" абсолютного монарха, обладающего всей полнотой законодательной и исполнительной власти, - с другой, - между этими полюсами лежат все возможные градации социального "я-могу" власть имущих.

"Верховная власть в государстве необходимо принадлежит одному человеку, или меньшинству, или большинству" [4, с. 111]. Единовластие, олигархия, демократия - такие названия укрепились в истории за тремя этими возможными вариантами, которые нам и следует рассмотреть.

Однако сразу встаёт вопрос: что может послужить критерием для оценки той или иной формы власти?

Трудовую функцию мы оценивали через производительность труда.

Распорядительную - через экономическую и военную мощь "мы".

Но власть - чем ее мерить? Устойчивостью? Долговечностью? Благом подданных? Великолепием? Уровнем культуры?

Две главнейшие задачи, стоящие перед любым правительством, - поддержание внутреннего мира и внешней безопасности - уже они требуют прямо противоположных направлений в законодательной деятельности. Внутренний порядок и спокойствие достигаются путём сужения социальных "я-могу" подданных, ужесточения границ-запретов; внешняя же безопасность может быть обеспечена лишь такими подданными, которые готовы самозабвенно трудиться и смело сражаться, - людьми с обширным социальным "я-могу". Не легче согласовать между собой требования гибкости и устойчивости. Ибо гибкость подразумевает умелое манипулирование посредством законодательных рычагов размерами всех социальных "я-могу" в соответствии с внешнеполитическими или внутри-экономическими изменениями; но постоянное манипулирование границами-запретами порождает в человеке представление об их непрочности, побуждает его к борьбе за расширение своего "я-могу" - вся устойчивость начинает трещать по швам. Наконец, постоянные переходы от войны к миру и обратно требуют, чтобы власть была то мобильной и всемогущей (для войны), то стабильной и ограниченной (для мира).

Вопрос, столь трудный даже в теории, в реальной жизни стократно усложняется кипением властолюбивых устремлений и часто превращает проблему формирования власти в бурлящий котёл страстей, борьбы, кровопролитий, насилий. Власть имущие сплошь и рядом манипулируют социальными "я-могу" подданных не ради пользы и процветания "мы", а ради расширения и упрочения собственных привилегий. В тех, кто пытается их свергнуть, идеальные и жертвенные мотивы так густо перемешаны с "похотью господствования", что провести грань между ними почти невозможно. Уровень цивилизации, политическая культура народа, географическое положение и численность – всё это накладывает дополнительные условия на решение задачи об оптимальной форме правления: то, что может представляться вполне удовлетворительным для данного народа в данный момент истории, в другой момент или для другого народа окажется просто гибельным.

И всё же, и всё же, и всё же!

Раз уж мы допускаем, что между расширением социальных "я-могу" подданных, чреватых смутами, и сужением их, чреватых экономической и военной беспомощностью, существует некая золотая середина; раз уж мы допускаем, что для каждого народа в тот или иной момент его истории должна существовать некая оптимальная форма социальной структуры; раз это так, мы можем считать наилучшей ту форму власти, которая с большей готовностью станет изменять законодательство в сторону приближения существующих "я-могу" к идеально-оптимальным даже в том случае, если это поведёт к сужению социального "я-могу" власть имущих.

"Только те политические устройства, которые имеют в виду общее благо, – говорит Аристотель, – суть устройства правильные и согласные с понятием справедливости в абсолютном смысле этого слова. Те, напротив, которые организованы исключительно в интересах одного правительства, суть ненормальные... Если всё внимание верховной власти обращено на собственный интерес – одного, или меньшинства, или даже большинства, то в этом случае политическое устройство представляет отклонение от правильного" [4, с. 110].

Какая же форма власти скорее других "уклоняется от правильного пути" на своекорыстный, эгоистический?

Спору нет – конечно, единовластие.

Как бы ни велика была власть абсолютного монарха, тирана, диктатора, сам он остаётся человеком и не может изжить в себе главное человеческое устремление – жажду расширить свое "я-могу". Что ему до того, что миллионы человеческих судеб уже находятся в полной его воле, что все улады жизни – к его услугам, что редчайшие драгоценности стекаются к нему со всех концов земли. Ведь всё это он уже может! Военная агрессия – вот вид расширения "я-могу", обожаемый всеми владыками. Причем агрессия эта часто может быть начата без реальной оценки соотношения сил, без всяких мыслей о политических или экономических выгодах, вопреки очевидным опасностям утраты власти в результате поражения. Достаточно вспомнить бесплодные войны римских императоров с парфянами; тупое упрямство, с которым испанские и французские короли пытались высадить десант в Англии; двадцатитысячный корпус, посланный Павлом Первым через Среднюю Азию на завоевание Индии; бессмысленную войну с Японией, чуть не стоившую Николаю Второму трона; безумие Наполеона и Гитлера, ввязавшихся в войну с Россией, имея за спиной такого врага, как Англия.

Если же слабость государства такова, что возможность военной агрессии отпадает, народу следует не радоваться, а, наоборот, ждать худшего. Ибо в таком случае повелителю не остаётся ничего другого, как расширять свое "я-могу" за счёт сужения "я-могу" подданных. И делать это он будет не только путем введения жестоких законов. Нет, каким бы свирепым ни был закон, он всё же кладет некий предел воле самого правителя и тем одним становится ему ненавистным. Возможность бесконтрольного произвола начинает казаться ему самой дорогой прерогативой власти. Ждать, что абсолютный монарх добровольно расширит социальные "я-могу" подданных, это значит ждать чего-то противоестественного, то есть чуда: что человек сам, своей волей сунет свое "я-могу" в пользу других. Привести примеры таких "самосужений" почти невозможно; только "я-могу" полицейско-сысского аппарата расширились всеми владыками с большой охотой. Когда же некоторым из них под давлением снизу приходилось идти на уступки, это справедливо расценивалось подданными не как благодеяние, а как проявление слабости и подхлестывало продолжать борьбу. Карл Стюарт, пожертвовавший парламенту головы самых жестоких своих министров, Людовик XVI, решившийся созвать Генеральные штаты, Александр II – освободитель крестьян, Николай II, сделавший шаг в сторону конституционного правления, – все они погибли насильственной смертью.

Большинство же единовластных владык видели свою главную задачу в последовательном расширении личного "я-могу".

Узурпация всех видов власти, в том числе и религиозной, полный произвол

Метаполитика. Ефимов Игорь Маркович filosoff.org
в выборе жертв, свобода грабежа, нарушение законов Божеских и человеческих, убийство собственных родных и детей – вот логический предел, до которого доходили многие из них. Камбис, Нерон, Калигула, Цинь Ши-хуанди, Иоанн Анжуйский, Борджиа, Филипп II, Иван IV, Павел I, Гитлер, Сталин, Мао Цзэдун – чем дальше мы будем продолжать этот бесконечный ряд, тем глубже проникнемся убеждением, что "абсолютная монархия – самая пагубная из всех азартных игр" [51, т. 1, с. 655].

И тем не менее народы мира все снова и снова с непонятным упорством пускаются в эту рискованную игру. Единовластие остаётся до сих пор наиболее распространенной формой устройства правящей функции. Как спичечный коробок, подброшенный в воздух, девять раз из десяти упадет на широкую сторону, так и всякое "мы" после сильной встряски, как правило, окажется под единоначальным управлением. Есть в единовластии какая-то изначальная устойчивость, логическая завершённость. Один правит, все прочие подчиняются – такой порядок обладает заманчивой простотой, доступен самому примитивному сознанию. Когда со смертью Фёдора Иоанновича оборвалась династия московских Даниловичей, русские люди впали в великое сомнение и смуту не потому, что искали новую форму правления, а потому, что надо было выбирать нового царя, а "выборный царь казался им такой же нелепостью, как выборный отец, выборная мать" [36, т. 3, с. 53].

Действительно, есть в истории моменты, когда единовластие являлось подлинным спасителем для "мы". Август, положивший конец ужасам гражданских войн в Риме, первые Тюдоры, избавившие Англию от войн Алой и Белой розы, Иван III, покончивший с грызней удельных князей, "католические супруги" – Фердинанд и Изабелла, утихомирившие Испанию, Людовик XIV, именем которого Мазарини заставил фронду вложить шпаги в ножны, – все они по заслугам представлялись большинству благонамеренных граждан неисполненными свыше избавителями отечества. Однако инерция народного сознания бывает так велика, что поклонение конкретному владыке распространяется и на всё его потомство, и на самый принцип единовластия. Всё, что возвышает власть, расширяет "я-могу" монарха, кажется тогда направленным ко благу "мы"; всякие попытки поставить пределы произволу и самовластью выглядят покушением на государственный порядок, крамолой, изменой. Император в Японии, царь-батюшка в России, султан в Турции, король в Испании были часто объектами такого искреннего народного обожания, что никакие преступления не могли омрачить или ослабить это чувство. Владыка казнит и грабит подданных? Так ведь казнит и грабит в первую очередь высокопоставленных и богатых. Последнюю копейку и последнюю горсть зерна надо отдать для уплаты налогов? То злые советники обманывают доброго царя и обирают народ. Враги наступают со всех сторон, разоряют землю? То панская-господская-боярская измена, мало их казнили, супостатов государевых.

Стабильность – вот главное достоинство единовластия. Когда вся полнота законодательной, судебной и исполнительной власти вручена одному человеку, политическая борьба различных группировок естественно затихает или ограничивается кругом дворцовых интриг, убийств, переворотов. Вся же остальная страна в перерывах между вспышками террора вкушает относительный покой. В отличие от бесчинств свободы, сопровождающихся криками, уличными стычками, взаимными угрозами и оскорблениями, бесчинства тоталитаризма творятся повседневно и незаметно, ибо совершаются всегда сильными над слабыми, не имеющими никакой надежды, что их голос протеста будет услышан. Если "в государстве, называющем себя республикой, всё спокойно, то можно быть уверенным, что в нем нет свободы" [53, с. 87]. Но так как большинству людей покой гораздо дороже свободы, единовластие процветало, процветает и, по-видимому, будет процветать в истории вопреки всем проклятиям и разоблачениям, обрушенным на него сторонниками свободы.

Власть меньшинства, олигархическая форма правления в чистом виде, встречается гораздо реже. Народ может обожать великодержавного владыку, может искренне дорожить своими вольностями и демократическими учреждениями, но представить себе народную любовь к кучке правителей просто невозможно. Поэтому олигархия во многих случаях предпочитает выступать под чужим обликом. Сплошь да рядом, за монархическим или демократическим фасадом мы обнаруживаем, что реальная власть находится в руках привилегированного меньшинства, которое само себя обновляет путем привлечения новых членов по признаку знатности, богатства, способностей, готовности сотрудничать. Из открытых олигархий можно упомянуть досолоновские Афины, управлявшиеся в течение четырёх веков эвпатридами, Спарту на всём протяжении её истории, Карфаген, где во время борьбы с Римом власть принадлежала герусии из 30 членов и совету 104 мужей (судей). Во франкском же королевстве при мажордомах графы и герцоги бережно сохраняли призрак монархии; так же и в Англии XVIII века правящая верхушка партии виггов посадила на трон Ганноверскую династию, хотя очень мало считалась с мнением первых Георгов;

бешеная ненависть Ивана Грозного к боярам в значительной мере вызывалась тем, что в допетровской России основные нити управления находились в руках боярства. Наоборот, многие греческие полисы, итальянские и немецкие города, поздний Новгород, Голландия XVIII века прятали свою олигархическую суть за внешностью республик. Иногда правление меньшинства устанавливалось как временная мера: в монархиях, когда обрывалась династия или на престоле оказывался малолетний царь; в демократиях, когда излишек свободы доводил государственный организм до полного расстройств (например, военные хунты наших дней).

Среди свойств, характерных для любой олигархии, в первую очередь следует отметить относительное миролюбие. В отличие от самодержца, олигарх не может видеть в войне вожденного расширения своего "я-могу". Война для него – всегда разорительное и рискованное предприятие. Победа не даст ему никаких реальных выгод, зато поражение может лишить всего – влияния, власти, жизни. Поэтому олигархия массу энергии тратит на повышение обороноспособности страны, но в военные авантюры втягивается неохотно. Так, могущество Спарты не привело ни разу к расширению её территории, зато и отвоевать у неё более или менее значительную часть никому не удалось. Рим, управлявшийся в первые полтора века республики сенаторской олигархией, за всё это время сумел захватить лишь один этрусский город Вейи. Зато когда, явились галлы, они разорили всю Италию, но застряли под стенами Палатина и в конце концов были изгнаны войсками Марка Фурия Камилла. Карфаген в своем упрямом нежелании воевать доходил до такого ослепления, что во время первой Пунической войны "Гамилькар был вынужден вымалывать или покупать у равнодушной и продажной толпы позволения спасти её" [51, т. 1, с. 534]. Во второй же Пунической войне герусия просто отмежевалась от Ганнибала, отказала в присылке денег и солдат и предоставила ему вести борьбу с Римом силами одной республики Баркидов, самовольно основанной его отцом в Испании. Англия за период правления виггов не ввязалась ни в одну серьезную внешнюю войну. Наконец, послесталинская Россия уже прожила рекордное для русской истории число мирных лет.

Другая черта олигархии – её внутренняя стабильность. Конечно, и между олигархами протекает скрытая борьба за власть, за влияние, но перед угрозой народного возмущения она немедленно утихает. Общность интересов, общность привилегий, взглядов и воспитания часто сплачивает олигархическую группировку в нерушимое целое. Находясь постоянно друг у друга на глазах, эти люди довольно быстро могут обнаружить в своей среде опасного честолюбца, рвущегося к единоличной власти, и поспешат отодвинуть его на задний план или убрать совсем, как убрали Гракхов, Катилину, Цезаря. Олигархия не подвержена случайностям рождений, смертей или умственных расстройств, которым так подвержена наследственная монархия. Её ослабление, вырождение и умирание идут рука об руку с разложением идеалов и принципов, вызвавших её к жизни, происходят медленно, но зато и необратимо. Попытка Суллы отдать всю полноту своей единодержавной власти обратно сенату была делом обречённым – старческие руки не могли уже сдержать этот груз, и, несмотря на героическую борьбу Цицерона, Брута, Кассия и им подобных, монархия восторжествовала в Риме, как единственная форма власти, способная сохранить порядок в гигантской империи.

Что же касается выбранного нами критерия – готовности власть имущих пожертвовать личным интересом общему благу, – то он заставляет провести некоторые различия между олигархиями, основанными на аристократическом, денежном, партийном или теократическом принципе, а именно: признать эгоизм аристократии, во всяком случае, самым дальновидным, а эгоизм денежных мешков – самым близоруким, корыстным, безудержным. Поэтому-то примеры "долголетия" можно найти только среди аристократических олигархий, в то время как олигархии капиталистов и купцов могли удержаться у власти много если полторы сотни лет. "Неправильно сказать, чтобы, например, одна олигархия была лучше другой, но можно только сказать, что одна менее дурна, чем другие" [4, с. 219]. И тем не менее в отличие от единовластия олигархия оказывалась иногда способной без кровопролития и гражданских войн поделить власть с бесправным большинством, пойти на значительное расширение социальных "я-могу" всех граждан государства в ущерб собственным интересам. По крайней мере два примера можно привести со всей определённой. Первый – 367 год до Р. Х. в Риме, когда плебейм был открыт доступ к должности консула, а затем – к преторской, цензорской и другим должностям; второй – парламентская реформа 1832 года в Англии, даровавшая избирательное право среднему сословию. Столетие славы, расцвета, побед, последовавшее и для того, и для другого государства вслед за этими переменами, по достоинству увенчало столь редкий в политической истории акт самопожертвования со стороны власть имущих.

О третьем варианте – власти принадлежит большинству – много говорить не

Метаполитика. Ефимов Игорь Маркович filosoff.org
придётся. Это всем известная демократия, царство подлинной свободы, где каждый гражданин обладает избирательным правом и благодаря ему оказывается причастным к управлению государством. Само собой разумеется, что демократическое правительство, чья деятельность протекает на глазах избирателей, с большей готовностью пойдёт навстречу любому возможному расширению социальных "я-могу" граждан. Само собой разумеется, что расширение социальных "я-могу" немедленно повлечёт за собой рост богатства и военного могущества. Блеск культуры, материальное изобилие, самый воздух свободы превращают жизнь в таком государстве в завидный удел, а изгнание из него оказывается тяжким наказанием.

Тем не менее, несмотря на все эти неоспоримые достоинства и преимущества, демократическое правление до сих пор не могло удержаться у власти дольше 200-250 лет. Культивируя свободу, оно вызывает такой бурный рост всех внутренних сил, набирает такую скорость движения, что рано или поздно разбивается о те подводные камни, которые подстерегают его на пути.

О главной из этих опасностей – стремительном росте социального неравенства, чреватом смутами и раздорами, – уже сказано в предыдущей главе. Другая опасность – ослабление центральной власти. Правительство со временем попадает в такую зависимость от мнений, страстей и предрассудков толпы, этого "многомиллионного тирана", что все его действия оказываются как бы парализованными. Попытки навести порядок вызывают гневные вопли об ущемлении свобод. Призыв пойти на материальные жертвы перед лицом надвигающейся опасности приводит к тому, что Аристиды подвергают остракизму, а Черчилля проваливают на выборах. "Дух равенства доводится до крайности, и каждый хочет быть равным тем, кого он избрал в свои правители. В таком случае народ отказывается признать им же самим назначенные власти и хочет всё делать сам: советоваться вместо сената, управлять вместо чиновников и судить вместо судей" [52, с. 254]. Мало того – правящее большинство хочет назначать даже военачальников и в своем ослеплении сажает в тюрьму Мильтиада, изгоняет фемистокла, доводит до самоубийства Пахета, приговаривает к смерти Алкивиада, и всё это в разгар военных действий. В Риме нетерпеливая толпа лишила диктаторских полномочий Фабия Максима; утром в день битвы при Каннах Ганнибал и офицеры его свиты смеялись, глядя с холма на тактические безрассудства нового народного избранника Теренция Варрона.

При всём внешнем отвращении к царям и королям демократическое правление на деле оказывается весьма доступным для установления тиранической диктатуры. Социальная рознь, борьба партий, охраняемая законом анархия, беспомощность правительства настолько утомляют общество, что его сопротивляемость по отношению к бацилле монархии ослабевает, и рано или поздно кто-нибудь из политических экстремистов, играя на самых низменных страстях большинства, победит на выборах или устроит военный переворот – наутро изумленное "мы", вчера еще демократическое, проснётся под пятой единовластия. Тираны греческих полисов, кондотьеры итальянских городов, бесчисленные военные диктаторы "освободившихся" африканских и латиноамериканских государств – всем им демократическая форма правления послужила прекрасным трамплином для прыжка к власти.

Следует упомянуть еще одно опасное свойство демократического "мы" – военную агрессивность. Гордое сознание собственной силы наполняет его воинственным духом и часто толкает решать международные конфликты силой оружия. Причём ещё неизвестно, что для него опаснее – поражение или победа. В случае поражения оно ещё имеет шансы сохранить свою форму правления. В случае же победы под его властью оказываются новые территории и новые народы, и оно неминуемо превращается в сословно-колониальное "мы", где прежнее демократическое большинство оказывается привилегированным меньшинством в необычайно разросшейся державе. Именно территориальное и демографическое расширение оказалось губительным для внутренней структуры Карфагена, Афин, Новгорода, превратило их в рабовладельческие олигархии. "Рим – единственная из всех гражданских общин, умевшая войной приумножить своё население. Он держался политики, неведомой остальному греко-италийскому миру: он приобщал к себе то, что побеждал... побеждённых превращал понемногу в римлян" [80, с. 422]. Но и римской дальновидности хватило только на сто лет, на период завоевания Италии; дальнейшая экспансия сопровождалась уже обычным колониальным порабощением.

Поэтому не без грусти должны мы признать, что демократия хотя и представляется нам "как пёстрое платье, испещрённое всеми цветами... прекраснейшим из правлений...", хотя мы и согласны с тем, что благо свободы там почитается главной ценностью и только там "стоит жить тому, кто по природе свободен", но очевидно также, что "ненасытная жажда сего блага и нерадение о прочем изменяют это правление и готовят ему потребность в тирании" [59, т. 3, с. 427].

Метаполитика. Ефимов Игорь Маркович filosoff.org

Аристотель писал свою "Политику" как раз в те годы, когда на Апеннинском полуострове политический гений римлян нащупывал форму правления, не подходящую ни под одно из его определений. Вручить власть не большинству, не меньшинству и не одному человеку, но разделить её между первым, вторым и третьим – до этого нужно было не только додуматься, но и осуществить такое разделение буквально на ходу, посреди бушующих страстей повседневной социальной и международной борьбы. В теории всё выглядит логично и просто: когда власть военная и административная обладает мобильностью и эффективностью единовластия (консульские или диктаторские полномочия), власть законодательная подчинена интересам большинства, как в подлинной демократии (центуриатные и трибутные комиции), а беспристрастие судопроизводства, чистота нравов и нерушимость конституционных принципов охраняются с дальновидностью и сдержанностью аристократической олигархии (сенатом), тогда мы действительно получаем оптимальный сплав достоинств различных форм правления и некое взаимоуничтожение их недостатков. Но насколько трудно было осуществить такую "простоту" в действительности, можно понять хотя бы из того факта, что лишь две тысячи лет спустя ещё одному народу – англо-американцам – удалось повторить римское чудо.

Мировое величие, достигнутое в древности Римом, а в наши дни – Англией, а затем Соединёнными Штатами Америки, поневоле заставило многие государства признать за их способом правления негласное первенство и попытаться ввести его у себя. Однако удалось это пока лишь немногим. Принцип разделения властей требует очень высокой политической культуры всей нации, небывалой прозрачности и сдержанности от власти имущих. Многие страны, пытавшиеся вслед за промышленно-техническим оборудованием "импортировать" также и конституционно-парламентско-президентскую форму правления, очень скоро с упорством оттянутой пружины возвращались к индивидуальному или олигархическому тоталитаризму. Так было в Турции, Испании, России, Китае, Греции, Югославии и во всех "молодых" государствах. В Западной Германии, Италии, Японии демократические учреждения удерживаются в значительной мере под присмотром американских авианосцев и ракет. Даже таким пионерам политического прогресса, как США и Франция, не всегда удаётся соблюдать равновесие между властью исполнительной и законодательной: достаточно вспомнить недавние столкновения де Голля с Национальным собранием, Никсона – с Конгрессом и Верховным судом.

И снова мы с надеждой спрашиваем себя: не принесёт ли воцарение индустриальной эры какого-то всеобщего обновления правящей функции? Успехи образования, распространение гуманных идей – не ослабят ли они вечный эгоизм власть имущих? Развитие средств сообщения и связи – не раскроет ли оно двери перед подлинной всенародной демократией? Накопленный исторический опыт – не поможет ли он продлить среднюю "продолжительность жизни" демократического "мы"? Полная гласность, печать, радио и телевидение – не гарантируют ли они нам того, что власть будет доставаться лишь достойнейшим?

И снова должны сказать себе: история последних десятилетий показывает, что все эти надежды рискуют остаться пустым самообольщением. Технический прогресс может быть использован эгоистичной властью не для создания всеобщего изобилия, а для производства средств массового уничтожения. Гуманные идеи годятся для разжигания страстей вражды ничуть не меньше, чем идеи религиозные, – достаточно показать в кинохронике убитого ребёнка – и естественное чувство сострадания превратится в ненависть к тому, кто будет объявлен его убийцей. Современные средства сообщения могут упрятать подальше от чувствительных глаз рабство концентрационных лагерей. Рёв автомобильных моторов прекрасно заглушает залпы расстрелов, пластинка с музыкой Шуберта – крики пытаемых, песни и пляски праздника урожая – стоны голодающих. Телевидение, печать и радио могут изо дня в день разжигать пламенную любовь подданных к гитлерам, муссолини, сталиным, дювалье и ненависть к "врагам народа", "изменникам отечества". Социальное "я-могу" работников и распорядителей может быть стиснуто до предела, но железный занавес на границе, скрывающий от них весь остальной мир, поможет убедить их в том, что они счастливейшие люди на земле. И так как темпы производства колючей проволоки, глушилок, наручников, слезоточивых газов, пулемётов, подслушивающих устройств, резиновых дубинок во много раз превосходят темпы духовного и политического созревания народа, возникает серьёзное опасение, что правящая функция в индустриальную эру окажется более чем когда-либо раньше доступной самому оголтелому и затажному деспотизму, если только...

Но об этом "если" речь пойдёт в третьей части книги.

5. Социальное "я-могу" подданных и военная мощь "мы"

Опыт своих столкновений с Персидским царством древние греки обобщили

таким образом: "Один на один перс может победить грека; двадцать персов против десяти греков устоят с трудом; тысяча же всегда побежит от сотни". И история греко-персидских войн всегда подтверждала справедливость этого правила. Если нам понадобятся другие примеры неподчинения законов войны законам арифметики, то на полях сражений той же Юго-Западной Азии их можно набрать в достаточном количестве.

Середина VII века до Р. Х. Вавилон – небольшая провинция огромной Ассирии. 50 лет спустя он уже владеет всем Двуречьем, Сирией, Палестиной, частью Аравии и границы его омывают воды трёх морей.

Примерно в это же время в соседней мидийской державе на северном берегу Персидского залива кочуют мало кому известные племена. Но вот проходит сто лет – и под ударами персов падают Мидия, Киликия, Лидийское царство, а затем и сам могущественный Вавилон.

Вряд ли Кир и Дарий Первый слышали когда-нибудь о маленькой Македонии. И вряд ли они поверили бы, что двести лет спустя созданное ими многомиллионное государство окажется беспомощным перед 30-тысячным греко-македонским войском.

Это непостижимое соотношение – несколько десятков тысяч против многих миллионов – повторится здесь ещё не раз.

Немногочисленные арабские племена завладевают Ираном, Двуречьем, Палестиной и Египтом в какие-нибудь тридцать лет.

Безвестные закаспийские кочевники – огузы – отнимают у арабов в 1055 году Иран, захватывают резиденцию халифов – Багдад, отбивают у Византии почти всю Малую Азию и основывают государство Великих Сельджуков.

Но еще 200 лет спустя 40-тысячною корпуса монголов оказывается достаточно для сокрушения могущества сельджуков.

Примерами подобных военно-арифметических парадоксов полна история не только Юго-Западной Азии, но и любой другой части света. Египет, завоёвываемый то гиксосами, то ливийцами, то эфиопами, многомиллионный Китай, вынужденный терпеть гуннских, сяньбийских, монгольских, маньчжурских правителей, норманны, захватившие половину европейских престолов, – во всех этих ситуациях победители не только не имели превосходства в численности и вооружении, но, как правило, были отсталыми в техническом отношении. Можно сказать: зато они были дики, свирепы, кровожадны и внушали неодолимый ужас своим изнеженным цивилизацией противникам. Но чем тогда объяснить военное превосходство культурных венецианцев над полудикими турками? непобедимость швейцарской пехоты? поход 10 тысяч греков через всю Персию, описанный Ксенофонтом? битву при Пуатье (1356), где 8 тысяч полуголодных, загнанных в ловушку англичан разбивают 60 тысяч французов и берут в плен их короля? битву при Плесси (1757), где более чем 50-тысячная бенгальская армия была рассеяна тремя тысячами англичан и сипаев?

Мужество, стойкость, воинское искусство, выносливость, готовность скорее умереть, чем отступить с поля боя, – всё это так. Но откуда же оно берется, мужество солдата? Почему у одних его такой избыток, а у других едва хватает на то, чтобы не разбежаться при виде облака пыли, поднятой неприятелем? В каком тайнике человеческой души спрятан источник воинской доблести?

Всё, что мы можем узнать о человеческой природе из мировой истории и литературы, из летописей и романов, из мемуаров полководцев и военных отчетов, даёт нам один и тот же ответ: мужеством, чувством чести, гордым презрением к смерти может обладать только человек свободный. Когда Демосфен говорит, что Македония – жалкая страна, "где даже раба порядочного нельзя купить" [24, с. 116], он сам не замечает, насколько смысл его слов не соответствует их презрительному пафосу. Нельзя купить порядочного раба – значит, дух свободы в народе так силен, что рабство для него немыслимо. И вскоре вся отравленная рабством Греция смогла убедиться при Херонее (338 год до Р. Х.), чего стоит такой дух свободы в бою.

Только от человека свободного мы можем ждать подлинной, непоказной храбрости на поле боя. Иными словами, от человека с обширным социальным "я-могу". Социальное же "я-могу" мы договорились мыслить как сумму реальных прав, предоставляемых человеку законом, обычаем или укладом общественной жизни. Возникает вопрос: возможно ли в принципе выработать численный эквивалент, характеризующий социальное "я-могу" любого члена исторического "мы"? Достаточно универсальный, чтобы можно было сопоставлять между собой, скажем, социальное "я-могу" кочевника и социальное "я-могу" человека индустриальной эры? Достаточно определённый, чтобы сумму всех социальных "я-могу" членов общества можно было выразить с его помощью в виде некоего суммарного "мы-можем", характеризующего уровень свободы в рассматриваемом "мы".

10 декабря 1948 года Генеральной Ассамблеей ООН была принята Всеобщая декларация прав человека. Эта Декларация состоит из 30 статей, 27 из которых говорят собственно о правах. Как пример простейшей,

Метаполитика. Ефимов Игорь Маркович filosoff.org
огрубленно-схематичной методике определения социального "я-могу" можно предложить оценивать его величину в соответствии с числом тех прав-статей, которыми реально обладает изучаемый член общества. По такой методике социальное "я-могу" раба, имеющего право только на жизнь (статья 3), будет оцениваться эквивалентом 1; "я-могу" серва, имеющего плюс к праву на жизнь ещё и право владения имуществом (статья 17), - эквивалентом 2; социальное "я-могу" жителя современных демократических государств, пользующегося всеми правами, перечисленными в Декларации, - эквивалентом 27.

Понятно, что 27 этих прав не равнозначны между собой. Что за уничтожение рабства (статья 4) люди шли на смерть, а об авторском праве (статья 27) многие и не слыхали. Что важность запрещения пытки и унижительных наказаний (статья 5) понятна всем и каждому, а важность презумпции невиновности (статья 11) - только людям юридически грамотным. Что некоторые статьи объединяют в себе сразу несколько прав, каждое из которых заслуживает быть выделенным отдельно, например статья 13, говорящая, во-первых, о праве менять место жительства внутри страны, а во-вторых, о праве покинуть свою страну и возвращаться в нее. Что, определяя численный эквивалент для социального "я-могу" кочевника, мы не можем всерьёз учитывать статью 12 в той её части, где говорится о праве на тайну корреспонденции. Что для французских гугенотов XVI века наиважнейшим показалось бы право на свободу вероисповедания (статья 18), для английских чартистов XIX века - право принимать участие в управлении своей страной (статья 21), а для русских диссидентов XX века - право на свободу убеждений и их открытое выражение, право на получение и распространение информации любыми средствами (статья 19). Поэтому точная оценка социальных "я-могу" людей, принадлежащих различным "мы", при помощи численных эквивалентов окажется возможной только после разработки более детальной методике, тщательного отбора конкретных прав, принимаемых к рассмотрению. Пока же удовлетворимся заключением, что в принципе это возможно.

Итак, представим себе, что мы не только добились от законов логики разрешения давать численное выражение социальным "я-могу", но и выработали общие правила для их расчёта. В этом случае сумма всех социальных "я-могу" отдельных членов общества, отнесённая к численности населения, может рассматриваться как эквивалент, характеризующий уровень свободы в "мы", как величина социального "мы-можем". И если теперь мы попробуем собрать не только перечисленные выше, но и другие примеры военных столкновений, при которых малочисленный народ побеждал гигантские державы, и сопоставим социальные "мы-можем" сталкивавшихся "мы", результат поразит нас своей наглядностью: уже при грубой оценке станет ясно, что во всех этих примерах победители, уступая в численности, намного превосходили побежденных по уровню социального "мы-можем". Идёт ли речь о кочевой демократии, нападающей на империю, населённую полу-рабами, или о малой республике, выступающей с оружием в руках против многомиллионной деспотии, общее правило может быть сформулировано так:

Боевой дух любого "мы", его моральный военный потенциал прямо пропорционален сумме всех социальных "я-могу", социальному "мы-можем", уровню свободы.

Проницательные правители давно подметили это правило и то так, то эдак пытались применять его при формировании армии. Военному сословию всегда предоставлялись особые льготы и привилегии. Конечно, не из гуманных чувств расширил Ашшурбанипал социальные "я-могу" вавилонских крестьян - именно в их лице получили он и его наследники непобедимых солдат. Византийские императоры терпели вольности некоторых окраинных народов своей империи, и это позволяло им вербовать среди армян, фракийцев, албанцев, болгар весьма боеспособные контингенты. Испанский король Альфонс VII, ведя освободительную войну против арабов, даровал жителям Толедо фуэро, в котором сказано: "Всякий, кто пожелает стать рыцарем, да станет им и пусть живёт по законам, рыцарям свойственным" [1, т. 1, с. 174]. Английские короли, командуя вольными йоменами, многократно били королей французских. Русские командиры при всём своем отвращении ко всякой несклоненной голове в конце концов уразумели, что казачество всё равно не задавишь, так лучше уж использовать его для войны. Многие властители, боявшиеся допустить малейший рост свободы среди своих подданных, пытались закупать этот бесценный товар - солдатское мужество - на стороне, то есть вербовали наёмников. Но все эти меры помогали деспотическим "мы" только до тех пор, пока жизнь не сталкивала их с народом, пользующимся подлинной свободой. В этом случае они неизбежно терпели поражение.

Конечно, выведенную закономерность не следует понимать таким образом, что стоит сегодня даровать народу права, перечисленные в Декларации ООН, и завтра получишь армию отчаянных храбрецов. Свобода, мужество, чувство чести и достоинства - "растения" многолетние. Если народ не созрел, то

Метаполитика. Ефимов Игорь Маркович filosoff.org
назавтра получив, скорее всего, поголовное безделье, пьянство, анархию и резню. Искусственно установленная демократия проживёт не дольше той лошади, которую ловкий барышник в романе Фолкнера надул воздухом для продажи. Но если социальные "я-могу" возрастали в естественных условиях, если свободные обычаи складывались в упорной и долгой борьбе, боеспособность народа окажется в прямой зависимости от социального "мы-можем".

Для оценки военного потенциала "мы" экономическое состояние, количество производимого ежегодно продукта – тоже весьма важный фактор. В случае столкновения двух "мы", одинаковых по своей социальной структуре, исход войны часто может быть решён материально-техническим превосходством, количеством солдат, пушек, кораблей, провианта и прочего военного снаряжения. Так бывало в войнах между испанскими и французскими королями, между Генуей и Венецией, между Турцией и Персией. Больше того: технический прогресс, достигнутый деспотическим "мы", порой компенсировал недостаток боевого духа солдат. Во времена Хань смелость гуннской конницы часто оказывалась беспомощной перед страшной убойной силой китайских арбалетов; и в 678, и в 718 году арабы откатывались из-под мощных стен Константинополя с огромными потерями, а весь их флот делался добычей "греческого огня"; мужество воинов Шамиля в конце концов было сломлено пушками Александра II.

Есть большой соблазн отождествить военное могущество "мы" с суммой всех социальных и экономических "я-могу" его членов. Найдётся много исторических примеров, прекрасно иллюстрирующих такую зависимость. Венеция в XVI веке, Финляндия и Израиль в XX при малых человеческих ресурсах, исключительно благодаря эффективности производства и высокому социальному "мы-можем" успешно боролись против многомиллионных деспотий турок, русских, арабов. И всё же соблазну этому надо поддаваться с большой осторожностью. Ибо далеко не всегда военный потенциал "мы" может быть использован полностью. Известно много случаев, когда богатые страны, не исчерпав и десятой доли своих сил, сдавались на милость победителя. И наоборот – страны нищие, придавленные многовековым деспотизмом, находили неведомые источники сопротивления (Испания и Россия – против Наполеона, Вьетнам – против Соединённых Штатов). Поэтому в дальнейшем следует тщательно отличать величину военного потенциала от возможной степени его реализации в войне.

Степень же реализации зависит от многих факторов.

Попробуем представить себе, перед какой альтернативой оказывались члены кочевого "мы" в случае военного столкновения с оседлыми народами. Главным достоинством кочевника была свобода, высокое социальное "я-могу", экономическое же "я-могу", как правило, было ничтожно. Ясно, что разгром родного племени сулил ему, даже в том случае если сам он избегнет гибели и плена, почти полную утрату царства "я-могу". Победа же обещала богатую добычу, то есть возделенное расширение "я-могу" экономического. Наоборот, подданный богатой земледельческой деспотии от победы не выигрывал ничего (в лучшем случае приобретал строптивого и опасного раба), при поражении же надеялся отделаться некоторой толикой своих богатств (дань, выкуп) или даже несколько расширить своё социальное "я-могу": так, для многих византийцев арабская и сельджукская оккупация несла некоторое ослабление гнёта помещиков-властителей. Кто же из этих двоих должен был сражаться с большим мужеством и острвенением? Конечно, кочевник.

Известно, что повсюду кочевники отстаивали свою независимость с невероятным упорством, а оседание их происходило, как правило, через завоевание земледельческих "мы", в которых они на долгое время делали распоряжителями и таким путем сохраняли самое для них дорогое – обширное социальное "я-могу". На первых порах материальные ресурсы и технические знания оседлых народов делали их ещё сильнее. Монголы, завоевав Китай, получили в своё распоряжение огромные арсеналы и осадную технику; арабы, выйдя к побережью Средиземного моря, захватили готовые корабли с опытными командами; туркам-османам пушки для осады Константинополя отливали покорённые сербы. Но постепенно обладание имуществом и землёй начинало цениться дороже свободы, победители утрачивали былую воинственность, и тогда никакие богатства, никакая техника не могли помочь им отразить следующую волну кочевников: галлы отступали перед германцами, англосаксы – перед норманнами, арабы – перед монголами, монголы – перед османами.

Действительно, недостаток материальных ресурсов может создать для бедного "мы" трудности в снабжении армии оружием. Однако весь исторический опыт показывает, что трудности эти легко преодолевались. Когда французы в IX веке запретили продавать оружие норманнам, те нашли покладистых продавцов в Германии; арабы рубили защитников Дамаска дамасскими же мечами; ирокезов снабжали ружьями сами англичане; турки везли порох крымским татарам; и в наши дни любая отсталая страна, играя на соперничестве сверхдержав, может получать военную технику практически в неограниченном количестве.

Гораздо труднее компенсировать развращающее действие житейского комфорта на боевой дух армии. Привычка к удобствам, к роскоши превращала для многих солдат тяготы военной жизни в непосильное испытание. Макиавелли упоминает эпизод, когда флорентийские войска отказались продолжать осаду Кампаны из-за того, что прекратилась доставка вина в их лагерь. Наступление зимы в Италии всегда служило достаточным поводом для перемирий. Людовик XIV выезжал на войну в Голландию с двором и дамами; немудрено, что его армия тащилась от одной крепости до другой таким темпом, что так и не сумела завоевать эту маленькую страну. Монгольская же конница могла покрывать при нужде огромные расстояния, ибо каждый воин готов был довольствоваться пригоршней сушеного молока и куском мяса, подсунутым под седло, а жажду умел утолять, отворив вену собственному коню. Кроме того, любовь к богатству делала граждан процветающего "мы" весьма чувствительными к финансовым потерям. Война, сильно бившая их по карману, очень скоро начинала вызывать в них отвращение и желание поскорее заключить мир на любых условиях, лишь бы можно было снова торговать, производить и наживаться.

Переход от мира к войне чреват для каждого члена "мы" временным сужением как социального, так и экономического "я-могу". На смену вольностям гражданской жизни является армейская дисциплина, все строгости и ограничения военного времени; достаток тоже резко сокращается, ибо продукт труда в значительной своей части сгорает в пожаре войны. Если мы скажем: чем дороже будет для человека своя земля, защищаемая им с оружием в руках, чем полнее он подчинит себя исполнению воинского долга, чем больше средств пожертвует общему делу, чем энергичнее станет трудиться, тем вероятнее победа над врагом, - с этим никто спорить не станет. Но подчинить себя долгу значит отказаться от какой-то части своего социального "я-могу"; жертвовать средства означает сокращать "я-могу" экономическое. Поэтому то же самое на языке метаполитики прозвучит так:

Военный потенциал общества прямо пропорционален социально-экономическому "мы-можем"; но исход войны будет зависеть не от абсолютных размеров "мы-можем", а от той доли его, которую народ сумеет высвободить, пожертвовав на борьбу.

(Например, в 1929 году Франция и Германия были одинаковыми индустриальными демократиями, причём благосостояние французов - победителей в предыдущей войне - было явно выше. Однако пришедший к власти нацизм, используя аппарат тоталитарного принуждения, смог реализовать немецкий военный потенциал гораздо полнее, что и принесло ему головокружительные победы первых лет войны.)

Конечно, если в государстве всё задавлено гнётом, а уровень производства ничтожен, может возникнуть впечатление, что и высвободить нечего: размеры социально-экономического "мы-можем" так малы, что дальнейшее уменьшение его для нужд войны кажется практически невозможным. Но в целях самозащиты деспотическое "мы" поспешно дарует или обещает своим подданным всякие льготы и послабления. Правительство меняет тон своих указов и обращений (знаменитое сталинское "братья и сестры"), начальствующие делаются мягче к подчиненным, надсмотрщики остерегаются слишком избивать поднадзорных. Суворова вызовут из ссылки, Туполева, Королева, Рокоссовского, Войно-Ясенецкого выпустят из лагерей, начнут открывать заколоченные церкви. Для некоторых народов война является "отдыхом от подготовки к ней" [60, т. 1, с. 70], несёт на первых порах радостное возбуждение и смутные надежды. Из уст в уста передаются рассказы о том, что "одолеем супостата - и всем выйдет воля". Подданным как бы даруются новые права, но реальное пользование ими откладывается до начала мирного времени; внешне социальное "мы-можем" остаётся без перемен, и тем не менее искомая разница налицо: она равна всей сумме расширения социальных "я-могу", обещанных людям в случае победы. Неважно, что обещания эти часто не выполняются, что правители ведут себя на манер спартанских олигархов, которые как-то приказали выделить две тысячи наиболее отличившихся в боях илотов (им была обещана свобода), водили их по храмам с пением хвалебных гимнов, а потом где-то тихо перебили, как наиболее опасных. Кто помнит сейчас несчастных илотов? Поляки, умиравшие в Испании за Наполеона? Марокканцы, добывшие победу франко? Итальянцы, приведённые Гитлером на берега Волги? Но даже если властители обещают свободу всерьёз, их скоропалительная покладистость может оказаться такой же запоздалой, как освобождение рабов в Греции перед угрозой римского нашествия в 146 году до Р. Х.; "было уже слишком поздно, и победитель Луций Меммий продал на одних и тех же аукционах хозяев, взятых в плен, и их рабов, получивших свободу" [11, с. 75]. Тем не менее приём этот продолжает применяться и время от времени оказывается действенным.

Как это ни парадоксально, сама бедность народа иногда делалась мощным оборонительным средством. Вторгнувшиеся вражеские армии, не находя на

Метаполитика. Ефимов Игорь Маркович filosoff.org
захваченной территории провианта, рано или поздно вынуждены были отступить. Германцы против римлян, скифы против персов, шотландцы против англичан часто с успехом пользовались этим оружием. Во время войны со шведами "русские, отступая, опустошали все кругом с такой неумолимой последовательностью, что Карлу XII с большим трудом удавалось содержать свои войска, растянувшиеся по большой северной дороге на Москву" [2, с. 242]. В конце концов они были вынуждены свернуть на юг, что дало Петру I время собрать силы и явиться под Полтаву во всеоружии.

Наступление индустриальной эры внесло значительные изменения в способы ведения войны, в организацию войска, в характер вооружения. Экономический фактор, уровень развития производительных сил приобрели гораздо большее значение. Промышленная мощь, запасы ископаемых, топливные и продовольственные ресурсы, оснащённость армии надёжной боевой техникой справедливо расцениваются сейчас как важнейшие характеристики военного потенциала любого "мы". Однако опыт последних лет показывает, что самые скорострельные пулемёты, самые дальнбойные пушки, самые надёжные танки, самые быстрые самолёты оказываются мертвым металлом, если нет людей, готовых скорее умереть, чем выпустить это оружие из рук. Именно поэтому все закономерности, выведенные метаполитикой на основе предшествующих эпох, остаются в силе и сегодня. Соизмеримость военных сил маленькой демократии и гигантской деспотии ярко продемонстрирована уже упоминавшимися столкновениями Финляндии и России, Израиля и арабов. Расслабляющее действие изобилия и свобод можно видеть на примере заискивания Англии и Франции перед Гитлером. Демократия перед лицом военной опасности способна резко увеличить производство промышленной продукции, но деспотия столь же резко может снизить потребление; в результате и та и другая высвободят приблизительно равные средства для ведения войны, как Япония и Америка во времена Пёрл-Харбора. Наконец, парадоксы упорного сопротивления бедных и отсталых в техническом отношении народов, принадлежащих ещё к оседло-земледельческой эре, демонстрировали буры, югославы, вьетнамцы.

Какие причины толкают то или иное "мы" на войну, какими средствами можно удержать его в состоянии мира – эти вопросы для каждого человека термоядерной эпохи сдела-лись вопросами жизни и смерти. Попытки исторического анализа крупнейших агрессий прошлого дают для каждой из них, казалось бы, свою причину, свой исходный момент. Можно, например, заметить, что опустошительным завоеваниям кочевников, как правило, предшествовало слияние многих племён в единое целое. Римская и Британская империи поднялись на пик могущества после внутренних переворотов, предоставивших больше политических прав народу. Достижение национальной независимости Соединёнными Штатами Америки и Соединёнными провинциями Голландии положило начало их стремительному террито-риальному расширению. Освобождение стран Балканского полуострова от турецкого ига превратило их в перманентных агрессоров. Бонапартизм и гитлеризм использовали силы, высвобожденные в результате антимонархических революций. Агрессивность Японии, Германии и России в конце XIX века связана со вступлением в индустриальную эру. Казалось бы, совершенно разные явления, не позволяющие говорить о какой-то закономерности, – объединение племён, дарование политических прав, достижение независимости, победоносная революция, индустриализация. Но с точки зрения метаполитики каждое из этих явлений связано с одним и тем же – с резким расширением социально-экономического "мы-можем". Отсюда сам собой напрашивается важнейший вывод:

Любое резкое увеличение социально-экономического "мы-можем" влечёт за собой вспышку безудержной агрессивности "мы".

И об этом выводе следует хорошо помнить всем оптимистам от политики и всем абстрактным энтузиастам свободы и прогресса, призывающим нынче без разбора благодетельствовать странам Третьего мира.

Социальное "я-могу" и миропостижение

Вряд ли жил когда-нибудь на свете человек, в душе которого не теплилась бы хоть в малой мере изначально заложенная жажда истины, красоты, справедливости, веры. В далёкой древности в неразвитых "мы" каждый утолял эту жажду сам по мере собственных сил. Библейский Иаков, пася овец, сам постигал закон природы, предопределяющий масть новорождённых ягнят; Рахиль сама создавала рисунок для разноцветной одежды Иосифа; Иуда сам был судьёй в деле фамари; Лаван, сам решал, каких жертв ждут от него идолы-терафимы. Но, начиная с оседло-земледельческой государственной формы бытия, эти духовные потребности человека вызывают к жизни особые виды деятельности – науку, искусство, правоведение, религию. Занятия учёного, художника, юриста, священнослужителя в сумме своей и образуют миропостигающую функцию "мы".

Задачи, стоящие перед работником, распорядителем или властью имущим,

Метаполитика. Ефимов Игорь Маркович filosoff.org
абсолютно ясны. Работник должен трудиться, распорядитель организовывать труд и распределение наиболее рациональным образом, власть имущий – блюсти внутренний порядок и внешнюю безопасность "мы". В отличие от них постигающий мир всегда оказывается в двойственном, внутренне противоречивом положении. "я" и "мы" требуют от него разного. С точки зрения "я", учёный должен видеть свою задачу в познании истины, художник – в создании прекрасного, служитель закона – в торжестве справедливости, священнослужитель – в постижении Божественного начала. С точки же зрения "мы" (которую каждый из них, как член "мы", поневоле в какой-то мере разделяет), всё, что от них требуется, – это хорошенько учить и лечить, изобретательно развлекать, умело разбирать тяжбы, гладко истолковывая непостижимое, освобождать души от сомнений. Подобная противоречивость требований приводит к тому, что судьба постигающего мир всегда содержит в себе зародыш трагедии, а оценка его деятельности современниками и потомками часто не совпадает: тот, кто слушается только собственного сердца и разума, часто вызывает гнев современников, тот же, кто слишком усердно старается "идти в ногу с веком", становится безразличен потомкам. Первый создаёт непреходящие духовные ценности, второй исправно выполняет обязанности, связанные с участием в миропостигающей функции. Однако обиходная речь не улавливает этого различия, и мы часто оказываемся жертвами путаницы понятий, при которой мыслитель и софист, творец и ремесленник, подлинный пастырь и равнодушный представитель клира обозначаются одними и теми же словами – "учёный", "художник", – "священник". Из-за этой нехватки слов нам придётся быть особенно внимательными, чтобы постоянно отличать творческую реализацию человеком высших порывов своей души от социальной деятельности, направленной на удовлетворение духовных потребностей членов "мы"; культурное созидание – от регламентирования научного, эстетического, юридического и религиозного; семья, которое "упало на добрую землю и принесло плод", – от семени, которое "упало на места каменистые... и скоро взошло... когда же поднялось солнце, увяло и, как не имело корня, засохло" [Матф., 13:8, 5-6].

В истории многих "мы" есть периоды духовного застоя, когда ни одно семя не даёт плода. Миропостигающая же функция в том или ином объёме наличествует всегда. Неизбежно кто-то должен заниматься хранением и передачей письменности, математических, технических, медицинских знаний; сочиняются какие-то песнопения, ткани испещряются узорами, строятся дворцы и замки; кто-то должен придавать словесную форму новым законам, следить за исполнением старых; господствующий религиозный культ требует специально обученных служителей. Возникает естественный вопрос: есть ли какая-нибудь связь между устройством миропостигающей функции и расцветом культуры? в какой момент древо культурной жизни становится цветущим и плодоносным? под действием каких социальных ветров сохнет и облетает?

Людам, считающим, что культура создаётся отдельными гениальными личностями, такой вопрос должен показаться бессмысленным. Их взгляд на дело заманчиво прост: культура расцветает там, где подряд рождается много одарённых людей, и не зависит от социальных условий. Нет логических аргументов, способных поколебать такую точку зрения, но и разделять её тем труднее, чем ближе начинаешь знакомиться с реальными фактами истории. Как, неужели лишь по воле случая в Афинах гении рождались один за другим, а в соседней Спарте, как назло, – ни одного? Неужели только игра судьбы собрала в Древнем Риме второго века по Р. Х. Тацита, Лукиана, Ювенала, Плутарха, Марка Аврелия, Эпиктета, Светония, Птолемея, Галена, а третий так обделила, что и вспомнить некого? Можно ли объяснить капризами генов то, что Испания начала 1600-х годов дала миру Сервантеса, Каведо, Лопе де Бегу, Веласкеса, Кальдерона, Риберу, Тирсо де Молину, а потом за 300 лет – одного Гойю? Или что культурная русская жизнь, до этого столь плодоносная, по чистой случайности так резко оборвалась в начале тридцатых годов XX столетия?

В принципе мы можем согласиться с тем, что могучий творческий дух одного человека способен прорвать даже самый изошённый духовный гнёт. Но для возникновения целой культурной эпохи необходима особая атмосфера – атмосфера свободы, вне которой всякая культурная деятельность чахнет, задыхается, мертвеет. Формальным объявлением свободы исследований, свободы творчества, свободы слова и совести такой атмосферы не создашь – необходимо ещё наличие широкого слоя людей, обладающих значительным социальным или экономическим "я-могу", способных воспользоваться этими свободами. Возьмём ли мы "золотой век" Афин, итальянское Возрождение, голландскую живопись, английскую и швейцарскую науку, немецкую философию и музыку, современное итальянское кино или американскую прозу – всюду мы увидим такое сгущение блестящих имён, которое исключает мысль о случайностях и заставляет искать в свободном жизненном укладе этих "мы" источник животворящей духовной силы. Пусть даже свобода окажется не всеобщей, пусть она дарована лишь одному

сословию – и в этом варианте она может произвести такие феномены, как дворянская культура Франции XVIII века или России – XIX. Даже самый крошечный островок свободы, ограниченный придворным кружком просвещённого монарха, может создать микроклимат, пригодный для произрастания культурных оазисов. Достаточно вспомнить дворы Эхнатона, Августа, Антонинов, багдадских халифов, веймарских герцогов, венских императоров.

Чем внимательней и подробней мы будем сопоставлять историю культуры с историей социальных состояний "мы", тем глубже проникнемся убеждением, что все люди, внесшие свой вклад в сокровищницу мировой культуры, могли созреть и творить только в атмосфере свободы, то есть в окружении обширных социальных "я-могу".

Как цветы высокогорных лугов не могут расти ни на заснеженных вершинах, ни на иссушенных предгорьях, так и для "цветов" культуры единственно возможной почвой оказывается высоко расположенная "площадка" социального контура – какой бы узкой она ни была. Там, где такой площадки не существует, где есть только власть имущие и подчиняющиеся, там всякое цветение прекращается, плоды не созревают, остаётся лишь рутинное исполнение миропостигающей функции.

Из всех бед, приносимых торжеством деспотизма, упадок культуры меньше всего огорчает "мы". Если в государстве есть грамотные люди, умеющие писать депеши и подсчитывать налоги, художники, чтобы украшать храмы и рисовать плакаты, если для любого произвола власть имущих ловкие правоведы быстро находят подходящую формулу закона, а вечные вопросы больше не мучают подданных, ибо на них с достаточным апломбом выдаются вечные ответы, то "мы" готово удовлетвориться таким положением. Требовать чего-то большего – зачем? Миропостигающая функция в таком виде вполне отвечает своему назначению, помогает сохранять сложившиеся формы социального здания. Плод же культурной деятельности, творческий взлёт гения – это всегда нечто неожиданное, опасно-разрушительное, а главное, он оказывается принадлежащим не данному "мы", а всему миру, мировой культуре. Какой же смысл пускаться в такие хлопоты и выращивать его у себя? Если уж возникнет нужда, его всегда можно будет добыть на стороне: позаимствовать научное открытие, купить художественное произведение, нанять архитектора, списать конституцию.

Итак, наличие или отсутствие обширных социально-экономических "я-могу" – вот что определяет состояние культурной функции. Каким образом сам деятель культуры включён при этом в социальный организм – вопрос второстепенный. Чаще всего по своему положению он оказывается приравнен к распорядителям и в соответствии с этим может быть частным лицом, служащим или членом корпорации (жреческой, монашеской, университетской). Известны случаи, когда человек совмещал культурную деятельность с обладанием властью: Нерон пел, Марк Аврелий философствовал, Лоренцо Медичи писал стихи, Гёте был министром, Державин – губернатором. Гораздо чаще исторические катаклизмы сбрасывали его на самое дно социальной структуры: многие врачи в Вавилоне были рабами, римские матроны покупали на аукционах образованных греков в качестве домашних учителей, псковские помещики назначали цены крепостным художникам и музыкантам, в сталинских шарашках работали сотни инженеров и учёных. Когда всё население царской России оказалось разбитым на чины и сословия, Антону Рубинштейну с трудом удалось выхлопотать для выпускников консерватории такой чин, при котором урядник не мог бы говорить им "ты" и бить по физиономии. В истории бывали моменты, когда миропостигающая функция во всём своём объёме исполнялась духовным сословием, но опять-таки при этом жреческие коллегии или монастыри оставались в первую очередь распорядительными корпорациями. Иными словами, до сих пор в социальной структуре "мы" положение деятеля культуры не было выделено каким-то особым образом, он мог принадлежать к любой из социальных групп.

Тем не менее миропостижение оставляет свой след в социальной жизни, и очень важный след.

Ибо толчок к любому расширению "мы-можем", к возрастанию суммарных социальных и экономических "я-могу" может исходить только из сферы духовно-интеллектуальной деятельности. Если утилитарное научное открытие и техническое изобретение непосредственно расширяют власть человека над природой, то постижение абстрактной истины, художественное озарение, обострение нравственного или религиозного чувства неизбежно возвышают человеческую душу настолько, что узкие рамки социального бытия делаются для неё непереносимыми и она устремляет свою энергию на поиски возможностей к их расширению. Сфера духа – единственная сфера, где "я" может противопоставить себя всемогущему "мы" и отстаивать свою самодовлеющую ценность. Именно поэтому всякий деспотизм с таким пристальным и подозрительным вниманием следит за тем, чтобы миропостигающая функция исполнялась механически, чтобы ни один глубокий ум, ни один яркий талант, ни одна пламенная вера не получили возможности проявить себя. Там, где это

Метаполитика. Ефимов Игорь Маркович filosoff.org
ему удается, наступает многовековое омертвление, застой, и постепенно об руку с умиранием духовным приходит умирание реальное – народ сходит с исторической сцены. Но там, где творческое начало оказывается победителем, там могут быть созданы духовные ценности, способные пережить тысячелетия, как пережили их греческое искусство, римское право, иудейский монотеизм. Они-то и явятся теми сокровищами, которых "ржа не истребляет и воры не украдут" [Матф., 6:19-20], которые оживут лишь в руках достойных наследников, как бы поздно они ни явились. Недаром же Возрождение начиналось с раскопок, Реформация – с чтения Библии, а любая устойчивая демократия наших дней – с изучения государственного строя древних римлян, римского права. Здесь мы вплотную подошли к кругу тем, охватываемых третьей частью книги, и можем спросить себя: под действием каких же сил происходят видоизменения социального контура "мы"? каким образом духовная деятельность влияет на социальную структуру? в какой мере сознанию удается определить бытие?

III. ДИНАМИКА ИСТОРИИ

кто расширяет социальные я-могу

Анализируя круг явлений, описываемых статикой истории, мы пришли к выводу, что богатство, могущество, расцвет культуры любого "мы" неизбежно связаны с заметным расширением социальных "я-могу" его членов. Возникает естественный вопрос: если богатство и могущество всегда, а культура весьма часто являются предметом самых горячих вождельний "мы", почему бы ему не достигнуть их таким простым путем – расширив социальные "я-могу"?

Потому, отвечают обычно на это власть имущие (если вообще снисходят отвечать), что дальнейшее расширение социальных "я-могу" грозит нарушить целостность "мы", ниспровергнуть законы, посеять анархию, произвол, разорение, открыть дорогу рвущимся к власти революционным сорвиголовам, ниспровергателям и экстремистам. И в подтверждение своей правоты приводят довольно убедительные и страшные исторические примеры.

Потому, отвечают революционеры и ниспровергатели, что верховная власть узурпирована кучкой проходимцев, радеющих не о благе народа, а об утолении своего властолюбия, страшущихся малейшего проблеска свободы в своих подданных, готовых жизнь и имущество любого из них принести в жертву своекорыстным интересам. Достаточно свергнуть власть, и расширение социальных "я-могу" немедленно произойдет само собой. И примеры, приводимые ими, окажутся не менее убедительными.

Понятно, что и те, и другие находятся в гуще политической жизни, что страсти борьбы ослепляют их и мешают быть объективными.

Но и теоретики, оглядывающие движения народов со стороны, не дают нам единого и обоснованного ответа на этот вопрос.

"Очевидно, – заявляет Аристотель (с несвойственной ему голословностью), – что некоторые по природе рабы, а другие по природе свободны. Так как варварские народы и вообще племена, населяющие Азию, по природе своей суть люди более рабского характера, чем эллины и народы, живущие в Европе, то деспотическое правление они переносят без всякой неприязни" [4, с. 15, 132].

"Латинские народы, – опровергает его Густав Лебон двадцать три века спустя, – мало заботясь о свободе, но очень много о равенстве, легко переносят всякого рода деспотизм, лишь бы этот деспотизм был безличным" [45, с. 51].

Начиная с XIX века готовность народа к расширению социальных "я-могу" стали определять понятием "зрелость". Например, о колониальных народах часто говорили, что они не созрели для независимости, для свободы. (И результаты послевоенной деколонизации подтвердили, что в большинстве случаев так оно и было.) Наоборот, признание "зрелости" народа в рамках многонациональной империи порой выражалось в предоставлении ему особых прав и привилегий (конституции, дарованные русским царём Польше и Финляндии). Наиболее прозорливые историки (Бокль, Моммзен, Фюстель де Куланж) всё внимательнее вглядывались в феномен "зрелости", учитывали его как самостоятельную политико-историческую силу, выделяли ситуации, при которых власть, пытавшаяся начать наступление на свободы подданных, наталкивалась на стойкое молчаливое сопротивление народа.

За неимением лучшего я тоже воспользовался термином "зрелость" в первой части книги. Однако смысл этого понятия сводился до сих пор, в сущности, лишь к констатации факта: там, где народ расширил свои социальные "я-могу" и удержал их при помощи устойчивых политических учреждений, там мы считали себя вправе сказать: оказывается, он созрел для свободы. Но так как ведущим принципом этой работы взято отыскание связи "между историческими событиями

Метаполитика. Ефимов Игорь Маркович filosoff.org
и свойствами мельчайшей молекулы каждого из этих событий – индивидуальной человеческой воли", мы должны спросить себя: каким же особым свойством должна обладать отдельная личность, входящая в данное "мы", чтобы, суммируясь в тысячах и миллионах людей, свойство это вылилось в трудно уловимое понятие "зрелость народа"?

И есть ли такое свойство?

Или зрелость создаётся слиянием обычных всем известных добродетелей и достоинств – доброты, мужества, честности, выдержки, ума, прозорливости?

Может быть, для тех, кто живёт сейчас в государствах с обширными социальными "я-могу", вопросы эти представляют чисто академический интерес. Но для тех, кто в силу рождения оказался зажатым в тесные колодки социальных несвобод, нет вопросов более личных, жгучих и злободневных. Ибо смысл их: что я, лично я, должен сделать с собою и ближними своими, чтобы приблизить желанное "созревание"? Поэтому, разворачивая свиток истории, мы задаём их себе всё снова и снова с не ослабевающей страстью.

Каким свойством должен был обладать древний афинянин и не обладать житель Сиракуз, чтобы в Афинах могла установиться прочная демократия, а в Сиракузах удерживалась тирания?

Чем отличались в Средние века итальянцы, жившие во Флоренции, Генуе, Венеции, Болонье и прочих городах-республиках, добившихся свободы, от итальянцев Милана, Рима, Неаполя, терпевших единоличных повелителей?

Почему на заре русской истории Псков и Новгород начинают двигаться в сторону расширения социальных "я-могу", а остальные княжества – в сторону сужения?

Почему за созывом испанских кортесов в 1520 году последовало восстание комучерос, сначала отдавшее всю страну в руки восставших, а через год кончившееся позорным поражением под Вильяларом и полным торжеством абсолютизма Габсбургов, и точно такой же созыв английского парламента в 1640 году вылился в упорную семилетнюю гражданскую войну, закончившуюся свержением абсолютизма Стюартов?

Почему демократия Соединённых Штатов Америки, раз установившись, сразу обрела устойчивость и продолжала развиваться, несмотря на внешние и внутренние потрясения, а Франция столько раз возвращалась к монархическому тоталитаризму?

Почему, наконец, и в наши дни так много цивилизованных и культурных государств, вообразивших себя "созревшими", – Германия, Россия, Испания, Греция, Чили, – не выдержали испытания свободой, буквально выпустили её из рук?

Можно заранее сказать, что любой мыслимый ответ на эти вопросы основан на одной из двух возможных предпосылок: детерминистской, полагающей все социальные перемены предопределёнными комбинацией тех или иных исторических обстоятельств, или антидетерминистской, сформулированной Львом Толстым, считавшим, что "движение народов производит не власть, не умственная деятельность, даже не соединение того и другого, но деятельность всех людей, принимающих участие в событии" [72, с. 396].

Детерминизм находится всегда в более выгодной позиции, ибо ему есть чем манипулировать в качестве доказательств. Так, политэкономический детерминизм любые социальные сдвиги связать с развитием производительных сил; детерминизм религиозный представит их как награду за истинную веру или наказание за грехи; эстетический детерминизм шпенглеровского толка всегда найдёт в многообразии культурных явлений что-нибудь такое, что можно будет выдать за причину или, по крайней мере, за ключевой момент. Образованный детерминист всегда будет иметь в запасе бездонные кладовые исторических фактов, годящихся для того, чтобы сплести из них прочную причинно-логическую сеть и ловить в неё впечатлительные умы.

Антидетерминист не имеет в руках ничего столь же прочного и красочного. Всё, что он может сказать: народ переменял формы своего социального бытия и удержал эти перемены потому, что такова была свободная воля этих людей в этот момент истории. А почему другой народ, оказавшийся в подобных же обстоятельствах, ничего подобного не сделал? На это антидетерминист скажет лишь одно: "Потому что воля человека свободна".

Спор этот имеет безысходно антиномический характер и коренится в третьей (по определению Канта) антиномии разума. ("Тезис: в мире существуют свободные причины; антитезис: нет никакой свободы, а всё есть природа, то есть необходимость" [31, с. 232]). Поэтому, если мы хотим вырваться из заколдованного круга антиномий, у нас есть только один путь – метафизический. Попробуем, однако, ступить на него не с философско-теоретической, а с обыденно-психологической стороны, то есть с той, где он доступен любому здравому рассудку.

Представим себе обыкновенного человека, живущего в гуще прочного, устойчивого "мы". Жизнь его проходит в трудах и заботах, в повседневной

смене надежд и тревог, радостей и разочарований. Воля его постоянно занята отысканием слабых участков границы царства "я-могу" и попытками раздвинуть её на этих участках. Здесь и забота о своём здоровье, своём состоянии, о семейных и личных делах; но участки, образующие социальное "я-могу", вызывают у него особый интерес. Недаром повышение по службе, получение чина, должности, титула, переход в более привилегированное сословие, выкуп на волю порой становятся предметом самых горячих желаний, заполняют всю душу человека. Изменить лично своё социальное "я-могу", перейти на другую ступень лестницы общественного неравенства – об этом индивидуум может мечтать, "мы" часто оставляет ему такую надежду. Но расширить своё социальное "я-могу" путём перестройки самой лестницы, переделать пирамиду социальных "я-могу" – это должно казаться ему не только невозможным, но и чем-то кощунственным, преступным, гибельным для него самого. Во всяком случае, каждое "мы" стремится убедить в этом всех своих членов, ибо справедливо видит главную гарантию своей целостности и стабильности в том впечатлении неизблемости, какое производят его институты и установления. Войско, полиция, суд, авторитет религии, сила традиции, убедительность пропаганды, очарование национально-родового чувства – всё ставится на службу этой цели, всё призвано ежедневно и ежечасно демонстрировать несокрушимость и неизменность установленного порядка вещей.

Спросим теперь себя: что должен испытать человек, чтобы хотя бы мысленно покуситься на господствующий правопорядок? Он должен был путём долгого жизненного опыта и рассуждений прийти к убеждению, что существующие границы социальных "я-могу" оставляют воле столько же простора, сколько узнику – тюремная камера. Он должен был осознать свое положение как гнёт и испытать боль открывшейся ему несвободы. И дальше это испытываемое страдание неизбежно должно толкнуть его на один из двух путей: либо на преодоление установленных границ, на социальную борьбу, либо на преодоление собственных "еретических" представлений, на убеждение самого себя в том, что существующая система социальных отношений есть такая же данность, как сила тяжести, движение светил, текучесть воды, твёрдость камня.

Что ждёт его на первом пути?

Напряжение всех сил в противоборстве с несокрушимым могуществом "мы", сознание своего отщепенства, позор, мучения и, скорее всего, гибель.

А на втором?

Не требующее больших усилий давление на собственное сознание, которое услужливо подхватит любой аргумент, направленный к оправданию того, что есть, возвращающий воле покой, снимающий мучительное представление о несвободе. Религия поспешит на помощь верующему, уверяя, что "всё в руке Божьей", атеист найдет опору у Гегеля, заявлявшего, что "все существующее – разумно". Так стоит ли после этого удивляться, что большинство людей избирает второй путь? Гораздо удивительнее то, что находят все же те редкие (один на тысячу, на десять тысяч) смельчаки, которые, несмотря на полную безнадёжность, решаются противопоставить себя грозной силе "мы" и первыми ринуться в самоубийственную борьбу.

Оставим, однако, на время и тех и других и рассмотрим парадоксальную возможность, открывающуюся в данной ситуации: когда человек не пускается в борьбу ни с миром, ни с собственным сознанием, а находит в себе силы терпеть страдание открывшейся несвободы. Но ради чего? Да просто потому, что изменить структуру "мы" он не видит никакой возможности ("свободы сеятель пустынный, я вышел рано, до звезды..."), а лгать самому себе кажется ему стыдно, низко, мелко.

Поистине есть много эпох, когда деспотизм настолько свиреп и могуществен, что поголовная покорность подданных не вызывает у нас строгого морального осуждения. Но зато нет таких эпох, когда человеку не был бы оставлен свободный выбор: ясно сознавать ужас своего бесправия, терпеть страдания, вызываемые этим сознанием, но не поступаться своим представлением о человеческом достоинстве и свободе, для которой он чувствовал себя предназначенным и которой его жестоко обделила судьба. И в этом мужественном выборе, совершающемся невидимо для окружающих, есть такое бескорыстие, такая чистая преданность невыразимому идеалу правды и свободы, что мы интуитивно чувствуем: должна быть прямая связь между таким духовным подвижничеством и процессом "созревания" народа.

Весь ход мировой истории ясно показывает нам, что существует много факторов, влияющих на возрастание или увядание свободы внутри "мы". Пример и влияние соседних народов, инициатива верховной власти, состояние экономики, уровень культуры, природные условия – всё это в значительной мере может помогать или мешать расширению социальных "я-могу". Точно так же дерево в природе может пышно расцвести при избытке воды и солнца или быть заглушено более мощными деревьями, оно может чутко реагировать на характер почвы, наличие или отсутствие удобрений, на нашествие насекомых, на помощь

человека.

Но при всём этом дерево растёт само.

Так же и свобода народа питается невидимыми внутренними соками индивидуальных усилий членов "мы". Рост дерева свободы может быть замедлен посторонним вмешательством, затруднён, искажён, сведён на нет, дерево это может быть повалено исторической бурей или срублено рукой могущественного завоевателя. Но никакая внешняя сила не сможет заставить его расти, созревать.

Сама верховная власть может быть лишь инициатором или тормозом для роста, расширения социальных "я-могу", но источник животворящей силы роста мы можем искать только в глубинной жизни отдельной клетки этого организма – индивидуальной человеческой воли.

Ясно, что в тех случаях, когда воля довольствуется своим социальным "я-могу" и подавляет все попытки сознания указать на его недостаточность, никакой надежды на расширение социальных "я-могу" не остаётся.

Горький опыт многих бунтов и революций убеждает нас в том, что воля, решившаяся на борьбу с властью и даже добившаяся победы, часто кончает тем, что на развалинах поверженного деспотизма устанавливает новый.

Поэтому в поисках фермента, создающего зрелость народа, мы должны сосредоточить всё своё внимание на третьем возможном здесь варианте: на подвижнической готовности терпеть страдания осознанной несвободы, как бы ни малы были надежды на прекращение их и каких бы испытанных уловок ни предлагалось нашему сознанию для заглушения этой плодотворной муки.

Выбор между веденьем и неведеньем

Чем пристальнее будем мы всматриваться в отношение индивидуальной человеческой воли к её социальному "я-могу", тем больше будем убеждаться, что предоставленный ей здесь выбор является лишь частным случаем выбора более широкого и всеобъемлющего. Сущность этого выбора определяется тем, что нашей воле дарованы огромные возможности влиять на систему своих представлений о мире.

Каждый новый день приносит человеку новую волну впечатлений, сведений, известий, знаний об окружающем и о себе самом. Есть среди этого потока впечатления, оставляющие нас безразличными, – им мы позволяем проваливаться без следа в бездонные кладовые памяти. Изредка попадаются радостные, наполняющие сердце гордостью, надеждой, нежностью, любовью, – их мы лелеем, раздуваем, возвращаемся к ним мыслями снова и снова. Но есть и такие, что вонзаются в сознание и торчат там как тупая заноза, не давая думать ни о чём другом.

Вот какое-то дело, долго подготовлявшееся тобой, забиравшее все помыслы и силы, пришло к безнадежному краху.

Вот услышал про чьё-то преуспеяние, счастье, удачу, и зависть начинает точить душу.

Вот нечаянно припомненный поступок снова обжёг стыдом.

Вот сомнение коснулось того, во что свято верил.

Вот вспомнилась упущенная любовь.

Вот чьё-то несчастье отозвалось в сердце болезненным состраданием.

Вот чей-то талант открыл тебе, каким ты уже никогда не будешь.

Вот случайная боль под левой лопаткой вызвала вдруг шальную мысль о неизбежной смерти.

Любого из этих впечатлений достаточно, чтобы белый свет стал вдруг немил. И тогда мы берёмся за работу.

Мы убеждаем себя, что дело потерпело крах не от нашей неспособности, а от злых козней подлецов и ничтожеств. Что чужой успех наверняка замешен на каком-нибудь жульничестве. Что припомненный поступок – далеко не самое худшее, что можно было совершить при тех обстоятельствах. Что одно жалкое сомнение не может поколебать прочности моей веры, разделяемой миллионами несомневающимися. Что упущенная любовь не стоила любви. Что в случившемся несчастье виноват сам пострадавший, нечего его жалеть. Что прирожденный талант не заслуга, а лишь повод для особого спроса. Что и насчёт смерти самой надо ещё посмотреть и разобраться, так ли уж она неизбежна; недаром же говорят о загробном царстве, или о бессмертии души, или о её переселениях в другие существа, или о том, что человек живёт в делах своих.

И так день за днем, приобретая жизненный опыт, мы бессознательно вырабатываем в себе искусство не знать, не понимать, не видеть, не помнить, не думать. Иными словами, мы выбираем неведение.

Конечно, не всякое представление легко поддается искажающему давлению нашей воли. То, что я вижу, слышу, чувствую сейчас (представления "инконкрето"), объявить несуществующим весьма трудно. Но всё, что я помню, предвижу, предчувствую, в чём убеждаюсь путем умозаключений (представления "инабстракто"), готово в случае надобности поддаться требованиям моей воли,

Метаполитика. Ефимов Игорь Маркович filosoff.org
приобрести расплывчатость, многозначность, двусмысленность, образности
системой смягчающих толкований или просто изменить смысл на обратный.

Вот несколько примеров, взятых почти наугад.

Враг подступил под стены моего города. Я слышу грохот его пушек, вижу дым зажённых им пожаров, первых раненых пронесёт мимо меня по улицам. Здесь мне уже никуда не деться от своего знания об обрушившейся беде, ибо оно дано мне "инконкрето". Я чувствую, что должен немедленно предпринять какие-то решительные действия: защищаться с оружием в руках или бросить всё и спастись бегством. Но ведь задолго до вторжения я слышал голоса, предупреждавшие о возможной угрозе. Меня пытались убедить в необходимости затратить свои силы, пожертвовать часть средств на оснастку флота, вооружение армии, укрепление границ. Отчего же я не внял тогда этим предупреждениям? Да оттого, что тогда беда являлась мне в виде слабого представления "инабстрактно", и лень, корыстолюбие, эгоизм, инертность легко свели его на нет.

Вот стражники всходят на порог моего дома. Я слышу стук в дверь и грозный голос: "Именем короля, именем бога, именем республики, именем народа, именем закона..." И пока дверь трещит и медленно поддается под ударами, я, мечась из одного угла в другой, успеваю вспомнить, что до меня доходили слухи о том, как это случилось с другими, что были люди, звавшие меня присоединиться к ним и сообща покончить с произволом, пока ещё не поздно. "Ах, как они были правы!" - восклицаю я в отчаянии. Но поздно.

Вот разлившаяся река смывает весь урожай с моего поля. Я пытаюсь спасти хоть что-нибудь и проклинаю себя за то, что не внял в свое время тем, кто настойчиво предлагал устраивать загодя запасы на случай бедствия или заняться строительством защитной плотины.

Но спрашивается: эти люди, заблаговременно предупреждавшие меня, - были ли они умнее, прозорливее прочих? Нет, они знали о будущем ровно столько, сколько и мы, и делились с нами всем, что знали. Но, может, они были безразличны к радостям сегодняшнего дня? Ничуть не бывало. Вся разница между нами и ними, между их знанием и нашим состояла в том, что для них "абстрактно" надвигающейся беды обладало такой же достоверностью, как и "конкрето" сегодняшних соблазнов и страстей, и поэтому способно было пересилить их, а для нас - нет. То есть в том, что они избрали веденье.

Дар разумного сознания, присущий каждой человеческой воле, можно уподобить прожектору, созданному для того, чтобы освещать окружающий мир во времени и пространстве. Свобода воли ни в чем не может быть реализована с большей полнотой, нежели в обращении с этим даром. Выбор состоит в том, чтобы направлять луч прожектора осторожно, избирательно, избегая освещать всё пугающее, укоряющее, тягостное, отталкивающее, опасное, - это выбор неведения; или посылать окрест себя ровный и ясный свет, не ослабляя его и не отводя даже от самых грозных и мучительных картин, - это мужественный выбор веденья.

Онтологическая важность этого духовного акта представляется мне такой огромной и так мало оценённой, что я вынужден вновь остановиться на нём и расшифровать смысл выбора как можно подробней.

Прежде всего, выбор не совершается человеком раз и навсегда. Это непрерывный процесс, непрерывное испытание нашей свободы, и возможно, что сегодня у нас уже не хватит сил терпеть ту меру веденья, какую мы терпели вчера.

Нет никакой возможности провести между людьми четкую границу и сказать: эти выбрали одно, а эти - другое. Какое-то веденье так или иначе допускает каждый, но главная для нас разница - разница в степени - ускользает от объективной оценки. Слишком потаённым остаётся этот акт, чтобы мы могли с уверенностью судить по внешним проявлениям. И тем не менее как ручей при открытии запруды устремляется всегда по пробитому руслу, так и сложившийся характер человека при сигнале тревоги - один привычным движением сосредоточит свет сознания на источнике угрозы, направит волю в русло веденья, другой не менее привычно опустит завесы, ширмы, шторы, постарается увильнуть, отвлечься, забыть, то есть свернёт в сторону неведения.

Выбор не является моральной категорией. Понятия "хороший-дурной", "добрый-злой" к нему неприменимы. Человек, избравший неведение, может оставаться добрым, чутким, отзывчивым, сострадательным к ближнему своему, ибо ближний является ему "инконкрето". Плач ребёнка глубоко расстроит такого человека, а известие о сотне расстрелянных в соседней стране оставит равнодушным. Наоборот, человек, избравший веденье, может выглядеть чёрствым, холодным, даже жестоким к ближнему своему, ибо он ни на минуту не забывает и о дальнем, данном ему "инабстрактно". Что можно сказать о Бруте, первом римском консуле, приказавшем казнить своих сыновей за попытку восстановить царскую власть? Только то, что "его поступок при всем желании невозможно ни восхвалять, ни осуждать. Либо высокая доблесть сделала его

Метаполитика. Ефимов Игорь Маркович filosoff.org
душу бесстрашной, либо, напротив, великое страдание довело его до полной
бесчувственности, а то и другое – дело нешуточное..." [60, т. 1, с. 130].

Выбор не зависит ни от умственных способностей человека, ни от
полученного образования. Неважно, как далеко достигает свет, дарованный
мне; важно, с какой смелостью я пользуюсь этим светом там, куда он
достигает. Самый недалекий и невежественный человек, самый "нищий духом"
может поразить нас глубиной и серьёзностью своего отношения к жизни,
честностью суждений, простотой и ясностью взгляда на основные вопросы
бытия. И наоборот, сколько можно привести примеров, когда ум и
образованность целиком посвящались задаче сокрытия истины от себя и
окружающих или шли на придание видимости благородства порывам самым
низменным. Неграмотный юродивый, бесстрашно обличавший Ивана Грозного,
конечно, был ведающим в большей степени, чем образованный царь, в котором
сильнее всего "работал инстинкт самосохранения и все усилия бойкого ума
были обращены на разработку этого грубого чувства" [36, т. 2, с. 188].

Выбор веденья хотя и увеличивает значение представлений "инабстрактно",
отнюдь не означает предпочтение идеальных сфер бытия реальным. Когда
"инконкрето" делается невыносимым, неведающий легко находит убежище в
крепости божественного, высокоморального, возвышенно-прекрасного или просто
в отчаянном мечтательстве на манер героя "Белых ночей" Достоевского.
Правда, он поспешит укрепить стены своего убежища и сведёт веру к догме,
мораль – к правилам поведения, искусство – к канонам и списку проверенных
шедевров, но всё равно сам будет почитать себя идеалистом, преданным
исключительно высокому и прекрасному.

Есть люди, горячо ратующие за веденье там, где их душевных сил может
хватить, но незаметно ослабляющие свет сознания, когда дело доходит до
вещей им непосильных. Они как бы пытаются искупить в одном месте
самопредательство, совершаемое ими в другом: один выпячивает свою
абсолютную принципиальность в науке и отодвигает в тень конформизм
общественного поведения; другой, наоборот, заботами об общественном благе
заслоняет бессердечие личных отношений с людьми; третий, строго подчиняясь
требованиям эстетического вкуса, с особенным жаром отвергает требования
ума, и так далее.

Что даёт человеку тот или иной выбор?

Выбор неведенья может привести, конечно, к тому, что надвигающаяся беда
не будет заблаговременно отведена, а благоприятная возможность –
использована. Но зато избравший неведенье может не тревожиться заранее ни
по поводу отдалённой беды, ни по поводу упущенных возможностей. Душевный
комфорт, непотревоженность, беспечность – вот бесценные награды, делающие
выбор неведенья столь привлекательным для большинства людей. И надо видеть,
с какой трогательной заботливостью обучают они всякого призадумавшегося
этому искусству: "Брось ты об этом думать. Зачем растравлять себя
понапрасну? Плюнь и забудь".

Выбор веденья, включая в себя отчасти и предусмотрительность в делах,
даёт какие-то выгоды человеку, но платить за него приходится очень дорого.
Ибо веденье делает душу открытой любой тревоге, любому укору, любому
сомнению. Все виды душевной боли он вынужден терпеть без спасительной
анестезии неведенья.

Неведающий, как правило, легко находит взаимопонимание с окружающими в
любой обстановке. И для него, и для них представления "инконкрето" –
главная, для всех одинаковая реальность, которую воля их уже не может
исказить по собственному произволу. Твёрдая почва "инконкрето" и служит им
всем критерием истины и началом отсчёта, облегчает сближение.

Избирающий веденье всегда в известной мере одинок. Отказываясь подчинить
себя всецело тому, что здесь и сейчас (инконкрето), он выпадает из ряда
неведающих, но при этом не обретает автоматически солидарности с другими
подобными себе. В безграничных сферах "инабстрактно" людям труднее найти
друг друга. Говоря о дальнем, нуждающемся в нашей любви и помощи, один
будет иметь в виду жителя соседней деревни, другой – любого соплеменника,
третий – всякого живущего человека, четвертый – плюс к тому же и всех ещё
не родившихся, пятый – всё живое. Говоря о важности грядущего, один будет
подразумевать будущий год, другой – идущие на смену поколения, третий –
историческую судьбу народа, четвертый – судьбу человечества, пятый – судьбу
мироздания. Легко ли им будет понять друг друга? Недаром на предельных
ступенях веденья, то есть среди подлинных ученых, художников, моралистов,
пророков, так часты примеры захватывающего дух одиночества.

И всё же самым безнадёжным и непреодолимым является непонимание между
людьми, совершающими противоположный выбор, между ведающими и неведающими.
Они словно бы оказываются в разных мирах – истинного и ложного, высокого и
низкого, достойного и постыдного. В то же самое время они живут бок о бок,
на одной земле, говорят на одном языке, часто бывают связаны узами родства

Метаполитика. Ефимов Игорь Маркович filosoff.org
или общим делом. Неприязнь выбравших неведенье к ведающему вызывается не только непониманием, но и подсознательным страхом, что он, являя им "инконкрето" своего облика, своих мнений и поведения, может разрушить их защитные сооружения, отдернуть завесу от всего, с чем они боятся оказаться лицом к лицу. В то же время, смутно сознавая несправедливость своего выбора, они инстинктивно тянутся к ведающему, надеясь обрести в его мужественном примере опору и вдруг преодолеть свою слабость. "На одной стороне оказывается исключение, на другой – масса, – писал Кьеркегор, – и самая их борьба – странный конфликт между нетерпеливым гневом на поднятую исключением тревогу и между влюбленным пристрастием массы к исключению" [43, с. 152]. Только этим гневом можно объяснить ненависть толпы, судившей Сократа, Гуса, Пастернака, и только этим пристрастием – их посмертную славу.

Выбор веденья есть проявление мужества – "мужества быть собой вопреки угрозе судьбы и смерти, вопреки угрозе пустоты и бессмысленности, вопреки угрозе вины и осуждения" [71, с. 41]. И хотя этот выбор открывает душу человека любому терзанию, внешне он часто проявляется каким-то особым спокойствием, сдержанностью, смиренномудрием. Вернее сказать, что ведающий часто остается спокойным среди всеобщего смятения, ибо для него происходящее "инконкрето" не заслоняет весь мир; зато может прийти в необычное волнение по поводу вещей далёких, абстрактных, окружающим совершенно непонятных. Именно по этому свойству в Средние века часто находили тех, кого следовало обвинить в колдовстве или ереси и отправить на костер, а в наше время – тех, кому можно поставить диагноз "неадекватная реакция" и упрятать в психолечебницу.

Человек может колебаться в выборе, может решительно склониться на сторону веденья или столь же решительно погрузиться на всю жизнь в пучину неведенья. Но какие бы крайние степени того или иного выбора ни представляли перед нашими глазами, мы ни на минуту не должны забывать, что линия, отделяющая веденье от неведенья, проходит не столько между людьми, сколько через сердце каждого человека, что устремленность души в одну сторону может возобладать, но не может полностью уничтожить устремленность противоположную.

Поэтому зрелость или незрелость народа всегда будет определяться не числом людей, дошедших до крайних степеней веденья или неведенья, но некоей метафизической суммой устремлений всех "я", образующих "мы", неким вектором, направленным вверх или вниз.

Есть много признаков, указывающих на то, что выбор между веденьем и неведеньем играл огромную роль на протяжении всей истории человечества.

Само зарождение охотничье-родового "мы" в доисторические времена могло произойти только там, где "абстрактно" табу или обычая было в силах возобладать над "конкрето" жадности, похоти, лени, злобы. Всякий шаг вперёд на пути хозяйственно-технического прогресса, приближавший человеческое "мы" к переходу в следующую эру – из охотничье-родовой в скотоводческо-племенную, затем в оседло-земледельческую и так далее, – требовал выбора веденья не только от того, кто первым совершал этот шаг, но и от его соплеменников – по крайней мере, той степени веденья, которая не позволила бы им изгнать или убить смелого зачинателя. И так же всякое возрастание свободы внутри "мы" не могло обойтись без мужества избравших веденье, ибо свобода – дело нелёгкое и бремя её не каждому под силу.

В первой части этой книги была рассмотрена связь между размерами социальных "я-могу" и статическим состоянием "мы", то есть между мерой свободы отдельного гражданина и военным потенциалом, экономической мощью, культурным уровнем всего государства. Теперь нам предстоит исследовать вопрос, каким образом сами размеры социальных "я-могу" зависят от зрелости народа, а зрелость – от выбора между веденьем и неведеньем, совершаемого каждым человеком.

Подобно тому как кинетическая энергия каждой молекулы, суммируясь, определяет собой температуру всего объема жидкости, так и духовная энергия выбора отдельных людей, соединяясь, образует некое свойство народа, которое мы договариваемся именовать зрелостью. Веденье и неведенье, переходя из тайников души индивидуального "я" в реалии социальной жизни "мы", делаются более доступными наблюдению, придают специфическую окраску быту, культуре, политике, приобретают некоторые устойчивые признаки – одни и те же для разных эпох и разных стран, – по которым мы и будем узнавать их.

Извечная борьба между веденьем и неведеньем может в разные моменты истории дать перевес то одному выбору, то другому, то застыть в точке неустойчивого равновесия. Для движения всякого "мы" по пути прогресса выбор (ещё одна физическая аналогия) играет роль ускорения: преобладание выбора веденья уподобляется ускорению положительному, приводящему к тому, что "скорость" возрастает и "мы" вырывается вперёд или настигает ушедших ранее;

Метаполитика. Ефимов Игорь Маркович filosoff.org
равновесное состояние есть нулевое ускорение, движение с постоянной скоростью; торжество неведенья соответствует ускорению отрицательному, то есть замедлению, остановке, возвращению к той или иной ступени дикости. А чем это чревато для каждого "мы", известно было уже политэкономии XVIII века, утверждавшей устами Адама Смита, что "прогрессирующее состояние общества означает радость и изобилие для всех его классов, неподвижное состояние общества лишено радости, а регрессирующее – полно печали" [64, с. 75].

И хотя исследование сил, движущих человечество по пути прогресса, представляется волнующим само по себе, важность такого исследования видится не только в получении объективно-научных данных. Показать каждому, избравшему веденье, каким образом его невидимые, никем не оценённые, глубоко личные усилия, и только они, оказываются плодотворными для дела общей свободы, для возрастания зрелости народа, как оправданно его противодействие внешнему и внутреннему напору неведенья, как все материальные блага, которыми неведущие так дорожат в сегодняшней общественной жизни, добывались и охранялись выбором веденья вопреки противодействию самих неведущих, как близок он, избирающий веденье, тому единственному праведнику, ради которого может быть пощажён город, – подобная задача представляется мне не менее серьёзной и ответственной. Ибо если проблемы "оправдания добра" (Соловьев), "оправдания творчества" (Бердяев), "оправдания веры" (Шестов) имеют значение непреходящее, то для наших дней нет в философском плане темы более злободневной, чем "оправдание мужества".

3. Какая зрелость нужна народу для перехода из одной эры в другую

О тех временах, когда земля впервые стала основным источником существования людей, а труд на земле – основным занятием, никаких достоверных сведений история не имеет. Древний Египет, Древний Китай, Шумер, Индия, Мексика предстают перед нами в виде уже сложившихся цивилизаций, населённых в подавляющем большинстве земледельцами, окружённых со всех сторон враждебными охотничьими или скотоводческими племенами. Только на основании косвенных свидетельств мы можем строить умозаключения о том, как происходило оседание этих народов-первооткрывателей.

Во-первых, бросается в глаза схожесть климатических условий. Все эти государства расположены в узкой полосе примерно между двадцатой и тридцатой параллелью северной широты. Очевидно, что наличие жаркого климата было непременным условием применявшейся ими агротехники. Однако представление о том, что почва тех мест с самого начала была так сказочно плодородна, сильно поколеблено последними исследованиями.

Так, шумеры обосновались в низменности Тигра и Евфрата еще в IV тысячелетии до Р. Х., когда она "была заражена холерой, дизентерией, малярией, тропической лихорадкой. Человека на каждом шагу подстерегали хищные звери, ядовитые змеи и скорпионы. В воздухе вились тучи комаров, гнуса и песчаных мух... Это был не райский сад, но ад – сначала болотный, потом – засушливо-знойный... Люди отделяли сушу от воды... и создавали свою страну" [6, с. 96]. От древних мексиканцев тоже требовалась необычайная энергия и умение "искусственно укреплять и осушать болота, на которых они первоначально обосновались" [54, с. 59]. Плодородие египетских и китайских полей находилось в прямой зависимости от ежегодных ирригационных работ, в которых принимало участие поголовно всё население; китайский император мог явиться к месту строительства дамб и ободрять трудящийся народ чтением стихов собственного сочинения. Иными словами, повсюду мы видим оросительную или заливную агротехнику, требовавшую очень высокой орга-низованности и сложной целенаправленности трудовой деятельности всех членов "мы".

Во-вторых, военная проблема.

Осушенная земля, обработанные поля, постройки – всё это привязывало к себе, лишало людей возможности спастись бегством от сильного врага, отнимало важнейшее оружие борьбы – мобильность. Выжить и утвердиться в такой ситуации могло только племя, которое стало бы сильнее всех окрестных племён. Взамен утраченной подвижности оно должно было вооружиться умением возводить каменные стены, изготавливать металлическое оружие, а главное – сражаться насмерть, зная, что бежать некуда. Можно с уверенностью сказать, что все народы, пытавшиеся перейти к оседлой жизни без выполнения этих условий, погибли и остались нам неизвестными. История же египтян, китайцев, шумеров, индусов, ацтеков заполнена бесконечной борьбой с нападающими кочевниками.

В-третьих, каждая из этих цивилизаций с самых ранних лет своего существования обладает качественно новым и небывалым методом хранения и передачи информации – письменностью.

Цепь этих фактов и соображений упорно противоречит версии постепенного оседания древних народов.

Конечно, и дикие племена строили какие-то хижины, иногда проводили в них не один год и что-то выращивали на грядках, выкопанных неподалёку. Однако представить себе, что хижины постепенно скучивались в деревни, а деревни со временем превращались в города или крепости-пуэбло, окружённые уже не огородами, а полями, довольно трудно. Слишком легко было прервать этот процесс, прервать и обратить вспять. Во всяком случае, более поздние примеры, относящиеся ко второму тысячелетию до Р. Х., подтверждают тенденцию к такому пути оседания – как бы прыжком. "Сначала, пожалуй, удивит, когда найдешь у древних писателей, что не существовало ни одного города, как бы деревен он ни был, который не выдавал бы себя знающим имя своего основателя. Но ведь ни один город и не мог утратить памяти о священном обряде, ознаменовавшем его рождение, потому что ежегодно оно вспоминалось жертвоприносным торжеством. Афины точно так же, как и Рим, всегда праздновали день своего рождения... У древних город возникал не исподволь, благодаря медленному приумножению людей и построек. Город основывался сразу, весь вдруг за один день. Но надлежало наперёд сложиться гражданской общине, а это было самым трудным делом" [80, с. 151].

С другой стороны, трудно себе представить, чтобы в те времена, когда не были еще приручены лошадь и буйвол и люди не умели пахать целину, какой-нибудь смелый зачинатель мог забросить свое стадо и в одиночку обработать участок, а остальные, увидев его успех, начали бы ему подражать. Нет, земля могла что-то дать лишь в том случае, если вся община разом бралась за работу – осушала болото, прокладывала оросительные каналы, строила плотину.

То же самое и в отношении письменности. Иероглифы египтян и китайцев, клинопись шумеров прошли, конечно, какой-то период становления и усовершенствований, но представляется невозможным, чтобы они возникали медленно и постепенно, накапливаясь знак за знаком. На создание изначального объема иероглифов не должно было уйти больше времени, чем на изобретение и ввод в эксплуатацию беспроволочного телеграфа. В противном случае объем передаваемой информации поначалу был бы смехотворно мал, и идея не вызвала бы к себе столь горячего интереса, не получила бы столь широкого распространения.

Итак, многое говорит за то, что, как бы долго ни длилось накопление сил для самостоятельного перехода в оседлое состояние, сам переход должен обладать известной долей исторической внезапности. И это тем более поразительно, что для каждого человека переход в новую эру означал многократное усложнение трудовой и социальной жизни.

От привычных и необременительных обязанностей по уходу за собственным скотом он должен был перейти к изнурительному труду на общинной земле, преодолеть "конкрето" сегодняшней усталости ради "абстрактно" будущего урожая,

От использования подручных материалов, кремня и кости, для наконечников стрел и копий – к начаткам горного дела, рудодобычи и металлургии.

От легко исполнимых деревянных построек – к многоярусным пуэбло ацтеков, каждое из которых могло вместить всю армию кортеса, к каменным гробницам и пирамидам египтян, к трехэтажным домам Мохенджодаро в Индии, требовавшим огромного запаса технических знаний и огромного напряжения сил.

От подчинения вековым законам рода и племени – к подчинению себя "абстрактно" государственных законов.

От "абстрактно" устной речи и устного предания – к ещё большему "абстрактно" письменных знаков, письменных знаний и письменных распоряжений.

Поэтому нет никакого сомнения, что перейти к оседло-земледельческому существованию первым, не имея перед глазами ободряющего и поучающего примера, мог только народ, в сознании которого абстрактные представления об основных сферах жизнедеятельности приобрели не меньшую прочность, чем представления конкретные, то есть народ, поднятый выбором веденья до очень высокого уровня зрелости.

Повторяю, мы не знаем и, наверное, никогда не узнаем, как это происходило. Но о том, как это было трудно, какой самоотверженности требовало от каждого человека, можно составить себе полное представление, наблюдая последующее оседание кочевых народов, которые уже имели перед глазами пример цивилизованных государств.

В большинстве своем они сопротивлялись процессу оседания с отчаянным упорством.

Жизнь больших городов не только манила их своей пышностью и многоцветьем, но нередко вызвала чувство ужаса, омерзения, презрения. Они видели не только богатство и блеск, но также и тяжкий труд, неравенство, приниженность одних и высокомерие других, развращённость, бездушие,

Метаполитика. Ефимов Игорь Маркович filosoff.org
корыстолюбие. После бескрайних просторов степей давка и теснота больших городов, духота помещений казались им невыносимыми. У кочевых крымских татар одним из самых обычных проклятий было: "чтоб тебе, как христианину, всю жизнь оставаться на одном месте и нюхать собственную вонь" [14, с. 143]. У кочевников Северной Аравии мы находим следы законодательных мер, направленных на пресечение попыток перейти к оседлости: объявлялись уголовным преступлением посев хлеба, постройка дома или посадка дерева.

Много свидетельств подобного же рода оставили нам римские авторы.

О германцах Цезарь пишет, что "земледелием они занимаются мало; их пища состоит, главным образом, из молока, сыра и мяса. Ни у кого из них нет определенных земельных участков, ... но власти и князья каждый год наделяют землей роды... а через год заставляют переходить на другое место. Этот порядок они объясняют тем, чтобы в увлечении оседлой жизнью люди не променяли интереса к войне на занятия земледелием" [82, с. 129]. Двести лет спустя они всё те же: "гораздо труднее убедить их распахать поле и ждать целый год урожая, чем склонить сразиться с врагом и претерпеть раны; больше того, по их представлениям, добыть пштом то, что может быть приобретено кровью, - лень и малодушие" [69, т. 1, с. 360]. Ещё дальше от оседлости народы, населявшие Средне-Русскую равнину. "у финнов (финнов) - поразительная дикость, жалкое убожество... Охота доставляет пропитание как мужчинам, так и женщинам... Но они считают это более счастливым уделом, чем изнурять себя работой в поле и трудиться над постройкой домов и неустанно думать, переходя от надежды к отчаянию, о своём и чужом имуществе; беспечные по отношению к людям, беспечные по отношению к божествам, они достигли самого трудного - не испытывать нужды даже в желаниях" [69, т. 1, с. 373].

Однако чем теснее делались контакты между народами, стоящими на разных ступенях культуры, тем слабее становились позиции подобного кочевого "стоицизма" и беззаботности (скорее всего, сильно преувеличенной тацитом и идеализированной). Пограничная торговля знакомила кочевников во вкуском хлеба, риса, фруктов, вина, с роскошными тканями, с богато украшенным оружием; рассказы соплеменников, побывавших в столицах, разворачивали перед ними картины заманчивой жизни, полной комфорта, развлечений, невиданных чудес и таких удовольствий, что давка, духота и скопление всевозможных пороков уже не казались слишком большой ценой за них. Все эти соблазны медленно, но неуклонно размывали устой кочевого "мы", склоняли к отказу от традиций предков, заставляли искать путей приобщения к благам цивилизации.

Путей было в основном три.

Каждый был по-своему труден, и выбор пути порождал ужасные раздоры не только между племенами, но и внутри родов и даже семей, развязывал чудовищную междоусобную борьбу, затягивавшую процесс оседания.

Первый путь был - осесть на своей собственной территории и начать обрабатывать ту землю, которая была под ногами. При этом, конечно, вся социальная структура племени оказывалась под угрозой: родовая знать, естественно, не собиралась сама братья за ручки плуга, простые же воины если и готовы были пахать, то уж во всяком случае не чужой участок. Угроза раскола была главной опасностью на этом пути; как велика была эта опасность, можно проследить на примере двух великих народов - галлов и хуннов.

Когда в начале IV века до Р.Х. полчища кельтов-галлов вторглись в Древний Рим, это был ещё народ, целиком принадлежащий эре кочевой и скотоводческой. Для них "считалось постыдным возделывать землю собственными руками. Земледелию они предпочитали пастушеский образ жизни и даже на плодородных равнинах реки По занимались преимущественно разведением свиней, мясом которых питались и вместе с которыми проводили дни и ночи в дубовых рощах" [51, т. 1, с. 307]. Вытесненные из Италии, галлы осели на территории современной Франции, а три века спустя Цезарь, вступивший туда во главе римских легионов, не застал уже былого единства. У некоторых племён процесс оседания зашел довольно далеко: люди трудились на полях, жили в довольно больших городах, окружённых грозными деревянными стенами, делились на классы (жрецы-друиды, всадники и простой народ, находящийся в весьма жалком состоянии), имели даже подобие голосового "телеграфа", когда новость криком с поля на поле передавалась за день на 160 миль. Другие племена (в основном северные) цепко держались за традиции кочевой жизни. Но в сущности линия разрыва проходила не между отдельными племенами, а гораздо глубже. "В Галлии не только во всех общинах и во всех округах и других подразделениях страны, но чуть ли не в каждом доме существовали две партии" [82, с. 123]. Одна - прогерманская, сопротивлявшаяся оседанию, имевшая наибольшую власть в племени секванов; другая - проримская, полностью восторжествовавшая, например, в племени эдуев, которые во все времена военных действий были верными союзниками римлян.

Следует отметить, что у осевших племён боевой дух был гораздо слабее, чем у кочующих собратьев. "Близость римских провинций и знакомство с заморскими товарами способствовали развитию у них благосостояния и новых потребностей; благодаря этому они мало-помалу привыкли к тому, что их побеждали" [82, с. 130]. Однако, играя на борьбе партий, римляне последовательно раскалывали или стравливали между собой племена, продвигались всё дальше и дальше на север и запад, пока не захватили всю Галлию. И вскоре некогда гордый и самобытный народ окончательно утратил свой язык, обычаи, внутреннюю связь и растворился среди населения империи.

Могучая кочевая держава Хунну в течение нескольких веков (III век до Р. Х. – I век после Р. Х.) вела успешную борьбу с оседло-земельческим Китаем. Хотя по населенности и богатству Китай превосходил хуннов во много раз, по размерам территории и по военной мощи противники были почти равны между собой. В мирном договоре, заключённом в 162 году до Р. Х. между императором Вэнь-ди и Лаошань-шаньюем, "Китай и Хунну признавались двумя равными государствами, причём Китай "из сочувствия" к холодному климату в стране своего соседа обязывался ежегодно отправлять на север, к хуннскому шаньюю, известное количество проса и белого риса, парчи, хлопка, шёлка и разных других вещей. (Конечно), это была завуалированная дань" [22, с. 90, 193]. Семьдесят лет спустя хунны опять разбивают китайскую армию и опять требуют лишь одного – товаров земледельческого общества, разрешения свободной торговли на границе.

Тем временем "люди Китая всё время разными путями попадали в степь и оседали в хуннских владениях. Первая мощная волна эмиграции имела место при императоре Цинь (221 год до Р. Х.)... Императорские министры отмечали высказывания пограничных рабов, что у "хуннов... жить весело" [22, с. 147]. Перебежчики, пленные, похищенные женщины, постепенно ассимилируясь, одновременно прививали хуннам навыки земледельческого труда, вкус к комфорту; "в источниках начинают упоминаться посевы проса" [22, с. 215]. Брожение умов всё усиливалось, давно намечавшийся раскол углублялся, и наконец в I веке после Р. Х. произошел решительный разрыв: кочевая держава распалась на два государства – южных и северных хунну, которые стали заклятыми врагами. Причем, так же как и в Галлии, разрыв этот произошел не между родами, а внутри их. "На юг ушли "старшие и почтительные отроки" – носители родовых традиций", на севере же образовалась орда, устроенная в виде военной демократии. Южные хунну всё больше оседали на земле и в конце концов были поглощены Китаем, как галлы – Римом. Северные, ослабленные расколом, утратившие внутреннюю прочность родовых связей, поддерживавшихся "старцами", откочёвывали всё дальше на север, пока не растворились в Великой степи.

Судьба татаро-монгольских племен имеет много общих черт с судьбой галлов и хунну. Мы видим такую же отчаянную междоусобную борьбу накануне перехода. Разрыв также происходил не между племенами, а внутри их. "Процесс дробления племени даже не приходится ставить под сомнение – он налицо и буквально засвидетельствован источниками... Шли к Тэмуджину (Чингисхану) не племенами, а семьями или куренями (военными единицами) как простые богатыри, так и аристократия" [21, с. 161]. Впоследствии также сохранилось правило, что после раскола племена, оставшиеся верными кочевым традициям, дольше сохраняли свободу и независимость, как, например, крымские татары; те же, кто пытался осесть, гораздо скорее поглощались развитыми цивилизациями. О казанских татарах известно, что они были "образованнее других, так как (уже в начале XVI века) возделывали поля, жили в домах и занимались разнооб-разною торговлей. (Вскоре) государь Московии Василий (III) довел их до того, что они ему подчинились и стали принимать царей по его усмотрению; сделать это с ними было нетрудно по причине взаимной торговли, без которой татары не могли обойтись" [14, с. 145].

Но при всём сходстве отдельных этапов путь перехода к оседлости татаро-монгольских племен имел принципиальное отличие: он включал в себя завоевание и покорение богатых земледельческих государств.

Не следует забывать, что оседание на землю само по себе мало привлекало кочевников. Их воображение распалялось зрелищем богатства оседлых народов, об-ширностью их экономических "я-могу". Но они не могли не видеть, каким стеснением личной свободы социального "я-могу" расплачивались те за своё материальное благопо-лучие. Приобрести огромные богатства, не утратив при этом свободы, – вот что становилось предметом самых страстных устремлений каждого члена племени, что разжигало в них неутолимый завоевательный зуд, поднимало в походы и волну за волной бросало их орды к границам цветущих и грозных империй.

По-разному складывалась история этих нашествий.

Некоторые народы натыкались на такое мощное сопротивление, что полностью погибали в боях, как кимвры и тевтоны, уничтоженные Гаем Марием в 101 году

Метаполитика. Ефимов Игорь Маркович filosoff.org
до Р. Х. в Северной Италии, как аланы, смятые пять веков спустя между гуннами и Восточной Римской империей.

Другие вклинивались в территорию больших государств, но постепенно оружием, дипломатией, религией превращались из завоевателей в подданных; так случилось с аварами, славянами, болгарами в Византии или с кянами, сяньби, южными хунну в Древнем Китае.

Третьим удавалось отрывать от крупной державы по куску и основывать на отвоёванных территориях свои королевства; франки, лангобарды, саксы, вестготы, вандалы растащили по кускам западную часть Римской империи, а арабы и турки-сельджуки несколько веков спустя приняли за восточную.

Четвёртые захватывали столицу и трон: гиксосы в Египте, арии в Индии, маньчжуры в Китае.

Пятые нанимались на военную службу и либо ассимилировались, либо также захватывали власть: ливийцы, потом эфиопы в Древнем Египте.

Некоторым удавалось покорить земледельческое население небольшой страны и сделаться господствующим классом: дорийцы в Лаконии, норманны в Англии.

Наконец, были народы, завоевательный порыв которых был так силен, что они покоряли не одно, а множество государств и образовывали гигантские империи: персидскую, арабскую, монгольскую.

Уникальной представляется в этом плане судьба еврейского народа. Быть почти поглощённым гигантской египетской цивилизацией и найти в себе силы вырваться, вернуться к скитаниям по пустыне, оружием добывать себе землю обетованную и ценой невероятных усилий сохранить свою цельность и самобытность – другого такого примера история не знает.

Третий путь представлял собой комбинацию первых двух. Он состоял в покорении полудиких племен, знавших начатки земледелия, и в обеспечении им военной защиты, что значительно облегчало тем процесс оседания.

Именно таким своеобразным путем возникла Киевская Русь.

В IX и X веках арабские и византийские писатели описывают Русь как северное племя, покорившее прибалтийских и приднепровских славян, живущее в основном разбоем, войной, торговлей и работоторговлей. Ни деревень, ни пашен это племя не имело. Однако, судя по тому, что "император Цимисхий по договору со Святославом (конец X века) дозволил Руси привозить хлеб на продажу" [36, т. 1, с. 155], можно понять, что местное население в это время уже усиленно занималось хлебопашеством. С XI века в памятниках начинают упоминаться факты владения землёй, а затем и случаи использования челяди не только как живого товара, но и как рабочей силы на полях. С этого момента деление на пришлых завоевателей и местных туземцев исчезает и на смену ему приходит понятие "русский народ", который разделён на классы, находится всецело в оседло-земледельческом состоянии, ведёт в свою очередь отчаянную борьбу с налетающими кочевниками: половцами, хазарами, печенегами.

Вся дальнейшая история России окрашена противоборством с хищным миром степных орд. Тысячи километров её восточных и южных границ были открыты их ежегодным набегам, сотни тысяч русских людей отвлекались в страдную пору на войну, погибали в боях, уводились в полон. Многие варварские черты в облике Русского государства коренятся в его вековой борьбе с варварством, и это безусловно должно быть зачтено ему судом человечества. Оно приняло на себя десятки и сотни социальных взрывов оседающих племён, поглотило массы народов, совершающих скачок от дикости к начаткам цивилизации, и, может, поэтому вечно отставало на пути прогресса, как слишком перегруженный корабль. Подобную же роль в таких же масштабах довелось исполнить еще только двум государствам – Китаю и Византии. (Недаром же у всех трёх так много общего.)

Сейчас трудно сказать, кому было тяжелее: великим ли народам древности – египтянам, индусам, китайцам – создавать свою цивилизацию, не имея перед глазами никакого примера и образца, или их последователям и наследникам – германцам, арабам, норманнам, руси и прочим – основывать собственные государства в опасном соседстве с народами, ушедшими далеко вперед. Ясно лишь то, что и для тех, и для других переход к оседло-земледельческому существованию был всегда величайшим потрясением и испытанием. Выдержать это потрясение и сохранить свою целостность, не распасться, не раствориться среди победителей или побеждённых – для этого требовалось невероятное напряжение духовных сил. Духовные же силы появляются у народа лишь тогда, когда выбор веденья становится в его нравственном настрое доминирующей силой.

Историки древности оставили нам описания некоторых обычаев, обрядов и верований кочевых народов. Но о главной примете выбора веденья, о том, что значили для них абстрактные понятия перед лицом конкретных фактов, мы можем судить лишь по случайным обрывкам. Конечно, наше внимание привлечет сообщение Цезаря о целомудренных нравах германцев, у которых "чем больше

Метаполитика. Ефимов Игорь Маркович filosoff.org
молодые люди сохраняли невинность, тем больше им было славы у своих; познать женщину до двадцатилетнего возраста они считали величайшим позором... хотя при этом и юноши и девушки вместе купались в реках и носили весьма открытые одежды" [82, с. 129]. На отношение персов к честности могут пролить некоторый свет гордые слова царя Кира, брошенные им ионянам: "Я не боюсь людей, у которых посреди города есть определённое место (базар), куда собирается народ, обманывая друг друга и давая ложные клятвы" [15, с. 60]. О том, как много места в жизни древнего монгола занимали заботы о "было" и "будет", свидетельствует отрывок из книги Рашид-ад-Дина: "каждому новорождённому дитяти, так как у них нет религии и веры, в которой они наставляли бы детей, отец и мать объясняют и растолковывают свой род... У всех них выведенная и ясная родословная (вплоть до седьмого колена), поелику обычай монголов таков, что они сохраняют происхождение предков и дедов своих... Кроме монголов, у других племен нету такого обычая, за исключением арабов, которые хранят своё происхождение наподобие жемчужины" [12, с. 46]. (Можно представить себе, как страшился всякий человек совершить что-либо позорное под взглядами бесконечной череды своих потомков.)

Но одна черта была общей всем народам, пытавшимся преодолеть рубеж между кочевой и оседлой жизнью, подошедшим вплотную к решительному скачку: чувство личного достоинства, гордое презрение к страданиям и смерти, необычайное мужество, стойкость, выносливость в бою. Невероятная, непропорциональная численности военная мощь их орд может быть объяснена лишь тем, что каждый воин был готов сражаться до тех пор, пока не падал бездыханным. Крымские татары смерть до того презирают, что охотнее соглашались умереть, нежели уступить неприятелю, и, будучи разбиты, грызут оружие, если не могут уже сражаться или помочь себе" [79, с. 78]. То же самое чуть ли не слово в слово говорят нам историки и об аланах, германцах, арабах, норманнах, турках, болгарях, гуннах, кимврах, тевтонах и многих других. И если подобные люди, не имея общности территории, не будучи принуждаемы к единству насильственными полицейскими мерами, оказываются сплочёнными в нерасторжимое могущественное "мы", это может значить лишь одно: что прочнейшие связи между ними существуют в их душе, в сфере представлений "инабстрактно".

Да, были народы, сумевшие преодолеть этот опасный рубеж и при этом не распасться, не рассеяться по свету, не раствориться в гигантских котлах многонациональных империй. Но, увы, не было ни одного народа, для которого переход этот произошёл бы безнаказанно.

Расплата же была всюду одна и та же – стремительное возрастание сил неведения и вслед за ним катастрофическое падение нравов.

Трудно поверить, что франки VI-VII веков, осевшие в Галлии, – потомки тех самых германцев, которых описывали Цезарь и Тацит. "Ослабление характеров раскрывается во всей истории того времени. Много видим интриг, лжи, насилий, преступлений; наоборот, никакой душевной силы, ничего гордого, благородного... Сами того не подозревая, эти поколения утратили нравственное чутьё. А с ним вместе исчезло то, что составляет самую крепкую связь общества... Люди становились всё хуже и хуже, управление ими – всё менее и менее возможным" [81, т. 6, с. 22].

Не осталось даже воинской доблести. Войска выступали в поход каждый год, начинали с разорения собственной территории, но при столкновении с противником "обращались в бегство, как только видели себя в меньшинстве; они часто отказывались сражаться. Нельзя себе представить зрелища более печального и отталкивающего, чем меровингское войско; это было по большей части сборище оборванцев, которые грабят, жгут, убивают беззащитное население и при первой встрече с неприятелем часто разбегаются" [81, т. 6, с. 703].

Боевой дух персов тоже пережил резкий спад. Сорок лет спустя Кир не мог бы уже повторить своих гордых слов. Персы, приведенные Ксерксом в Грецию, хотя и были лучшим контингентом огромного войска, уже "блистали множеством золотых украшений, их сопровождали повозки с наложницами и множеством прислуги в богатых одеждах, продовольствие для них везли отдельно от прочих воинов на верблюдах и вьючных животных" [15, с. 335]. Ещё восемьдесят лет спустя разложение зашло так далеко, что другой Кир (царевич, пытавшийся захватить трон) вынужден сознаться: "Войско царя – огромная толпа, и наступает она с громким криком, но если вы устоите, то в дальнейшем мне и самому стыдно сказать, какими окажутся перед вами люди этой страны" [41, с. 28].

Ста лет не прошло со дня смерти Чингисхана, а продажность монголов дошла до того, что Иван Калита в Золотой Орде мог за деньги и подарки ханским жёнам добиваться всего, чего хотел.

С неумолимостью ржавчины богатство разъедало душу этих народов.

Выбор веденя, поддерживавший и сохранявший их нравственные устои, мог с успехом преодолевать бедное "конкрето" кочевой жизни. Но совладать с многообразным и богатым "конкрето" жизни оседло-земледельческого общества ему было не по силам. Уровень их зрелости был очень высоким для жизни в кибитках, но очень низким для жизни в каменных городах. Золотой телец всюду в конце концов брал верх над прежними богами и вытеснял их. И в тех случаях, когда эти народы оказывались полновластными завоевателями, торжество неведенья в их среде стремительно распространялось на всю завоёванную территорию, приводило культуру и цивилизацию на грань полного уничтожения. Франки, утвердившиеся в Галлии, "не постановили массового отобрания имущества, но летописи показывают, что было бесчисленное множество отдельных насилий. Лишённый имущества галл тотчас же усваивал всю алчность, всё насильничество, все хитрости варвара; он грабил так, как грабили его, и каждый грабёж развивался таким образом всё дальше и дальше... Вышло так, что не было порабощённого и поработившего племени; но во всех существованиях воцарилась неустойчивость... Не было человеческой жизни, которая знала бы прочность и спокойствие" [81, т. 6, с. 693].

Своеобразный пример в этом плане являет нам история Спарты. Дорийское племя, завоевавшее Лаконию, испытало все бедствия, связанные с оседанием: разгул корыстолюбивых страстей, чванливую роскошь разбогатевших, завистливую ненависть к ним бедных, взаимную подозрительность, раздоры, убийства. Однако уровень зрелости этого народа был так высок, что он нашёл в себе силы осознать ужас подобного положения и попытаться выйти из него, вручив законодательную власть Ликургу.

Древние авторы много говорят о мудрости Ликурга.

Действительно, ему удалось своими законами на несколько веков стабилизировать и сохранить спартанское "мы". Но какой ценой? Установив постоянный оброк в пользу спартиатов с илотов и пэриэков, он покончил с экономическим соперничеством, но одновременно исключил всякий стимул к развитию сельского хозяйства, оставил его на уровне VIII века до Р. Х. Уничтожив денежное обращение, остановил развитие промышленности и торговли. Запретив "выезжать за пределы страны и путешествовать из опасения, как бы не завезли в Лакедемон чужие нравы, не стали подражать чужой неупорядоченной жизни и иному образу правления" [60, т. 1, с. 74], прекратил духовную связь с Элладой и всем цивилизованным миром. Совершенствоваться и соревноваться друг с другом спартиатам было дозволено только в воинской доблести, в чём они и достигли значительных высот. Было создано строго кастовое военизированное государство без писаных законов ("свои законы записывать Ликург не стал" [60, т. 1, с. 59]), с закрытыми границами, с убогим непрогрессирующим хозяйством, со скудной культурой, государство, в котором все дела окутывались тайной, осуждённых казнили ночью, а воинский дух юношей поддерживался то розгами, то разрешением поохотиться с кинжалом на безоружных илотов.

Возможно, легендарный Ликург всего этого не хотел. Но, ставя себе цель сохранить духовное здоровье народа, он не видел никаких иных средств укрепить его дух против развращающего действия богатства, как только осудив его на вечную бедность. Нельзя законодательным путем направить человека на преодоление соблазнов, можно только уничтожить сами соблазны, оградив его тем самым от них. Что и было сделано. Таким образом, в Спарте неведенье восторжествовало в процессе оседания не в виде разрушительной анархии, а в виде продуманного государственного порядка, приспособленного к низкому уровню зрелости народа.

Переход человечества в оседло-земледельческое состояние тянулся несколько тысячелетий.

Происходящий на наших глазах переход в индустриальную эру, очевидно, уложится в несколько веков.

Индийская, китайская, греко-римская цивилизации в течение длительного времени не подозревали о существовании друг друга.

При современных средствах сообщения, связи и информации то, что происходит в одной стране, очень скоро становится известным всему миру.

Есть и другие немаловажные различия между началом эры земледельческой и эры индустриальной. Но есть и много общих черт, позволяющих выделить и даже предугадать основные тенденции нынешнего переходного процесса.

Главная общая черта - невероятные социальные смуты, потрясавшие и продолжающие потрясать каждое "мы" в переходный период. Меж- и внутриплеменные усобицы, пережитые галлами, хуннами, арабами, норманнами, монголами, вряд ли могут превзойти ожесточением и кровопролитностью ту волну революций, которая прокатилась по Европе в XVIII-XX веках.

Как раньше переход в новую эру сопровождался для многих народов национальным расколом, так и в наше время некоторые страны оказались разорваны политической борьбой на две части: Корея, Вьетнам, Германия,

Метаполитика. Ефимов Игорь Маркович filosoff.org
Китай, Индия (отделение Пакистана).

В Галлии чуть ли не в каждом доме существовали две партии. Не так ли раскалывала политическая рознь французские, русские, немецкие семьи накануне великих революций?

Для кочевников переход почти всегда был связан с крушением или вытеснением родовой иерархии, с уничтожением прав родовой аристократии. Точно так же при переходе в эру индустриальную рушились прежде всего сословные барьеры, декларировалось равенство.

Если прежде на смену родовому устройству приходила та или иная форма военной организации – дружина, орда, – то в наше время позвоночным столбом многих обществ (не первооткрывателей индустриальной эры, но, как и там, догоняющих) становится принцип партократии – организации, связанной, как и орда, прежде всего строжайшей дисциплиной, способной сплотить воедино людей разных рас, наций, языка, образования, способностей.

И уж конечно, основа духовного состояния каждой нации – выбор веденья – подвергается сейчас такому же или гораздо более суровому испытанию. Ибо индустриализация дает еще более резкое расширение экономической мощи, чем оседание, "конкрето" предлагаемых ею благ с гораздо большей силой давит на "абстрактно" порядочности, гордости, сострадания, личного достоинства, справедливости, честности, веры. Человек может быть достаточно предан чему-то, чтобы его нельзя было купить за сребреник, но предложите тридцать – и его совесть поддастся. Нужно очень высоко подняться в выборе веденья для того, чтобы всё бросить и уйти отстаивать свою правду на земле, даже если это "всё" – хижина и клочок земли; но если "всё" включает в себя коттедж, автомобиль, телевизор, транзистор, холодильник, поездки к морю, путешествие на самолетах, телефон, электричество, газ, тёплый душ, иллюстрированный журнал, шум и огни большого города – тогда очень легко принять именно "всё" за окончательную, последнюю "правду" и пожертвовать для неё всем прочим. Недаром же даже серьёзные люди порой готовы были оправдывать фашизм, ссылаясь на наведённый им в промышленности порядок, а сталинизм – неопровержимым фактом индустриализации России, не разбирая при этом, шла ли она благодаря Сталину или вопреки ему.

Первыми победами, знаменовавшими начало индустриальной эры, можно считать овладение энергией пороха и океанского ветра. Уже они внесли серьёзные перемены в судьбы человечества: открыли восточному полушарию земли полушарие западное, поставили лицом к лицу многие народы, знавшие друг друга лишь понаслышке, накрепко связали фактор военной мощи с наличием флота и артиллерии, то есть с наличием промышленности. Но по-настоящему индустриальная эра начинается, конечно, лишь с запуска паровой машины и электрического генератора.

Англия была, безусловно, лидером, открывшим человечеству новую эру. С тех пор как в середине XVIII века она вступила на путь машинного производства, прочие страны оказались перед фактом необычайного возрастания её военной и экономической мощи. Одна за другой они спешат устремиться по проложенному ею пути, и одна за другой проходят те же "стадии роста", с разной, однако, скоростью и по-разному расплачиваясь кровью, страданиями своих народов за каждую ступень.

Современная политэкономия дает детальный анализ этого процесса, приводит даже примерные даты вступления некоторых стран в так называемую "стадию подъёма": "Великобритания – 1733–1802 годы; Франция – 1830–1860 годы; Германия – 1850–1873 годы; США – 1843–1860 годы; Япония – 1878–1900 годы; Россия – 1890–1914 годы; Китай – 1952–... годы; Индия – 1952–... годы" [62, с. 38]. В новой истории этих государств даты самых серьёзных внутренних смут и самых стремительных внешних агрессий с поразительной наглядностью попадают в хронологические рамки стадии подъёма или следующей стадии – созревания. Великобритания – внутренняя война 1776–1783 годов с восставшими американскими колониями и захват Индии; Франция – революции 1830 и 1848 годов, Крымская война 1855 года; США – нападение на Мексику в 1846–1848 годах, лишившее последнюю двух пятых её территории, и гражданская война 1861–1865 гг.; Германия – революция и контрреволюция 1848–1851 годов, нападение на Данию (1864), Австрию (1866), Францию (1871); Япония – революция Мэйдзи (1868), восстания 1877 года, война с Китаем (1894), захват Формозы, а затем Кореи и Южной части Сахалина; Россия – революции 1905 и 1917 годов, нападение на Японию в 1904 году; Индия – завоевание независимости после Второй мировой войны, нападение на Пакистан и Китай; Китай – гражданская война, закончившаяся лишь в 1949 году, тотальная военная агрессивность в наши дни. Подобное же хронологическое совпадение можно проследить и в новейшей истории других стран. Меньшие размеры и меньшая военная мощь поневоле ограничивают их захватнические аппетиты, но по кровопролитности пережитой внутренней борьбы Мексика, Турция, Италия, Испания, Греция, Куба, Египет, Камбоджа, Индонезия, Чили (на очереди Алжир

Метаполитика. Ефимов Игорь Маркович filosoff.org
и Эфиопия) не уступят великим державам.

Достигнув индустриального подъёма и созревания, милитаризм английский, французский, американский, немецкий, японский, русский по очереди вступали в борьбу за передел мира, зажигали пожары невиданных доселе войн. И в наши дни основными очагами военной напряженности являются созревающие страны Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии и в перспективе – Африки. Вслед за Китаем и Индией, Иран и Египет тянутся к атомному оружию, и развитые страны из-за политической близорукости и соперничества идут им в этом навстречу.

Восточная и Западная Римские империи не сумели в V веке по Р. Х. преодолеть свои противоречия и объединиться перед лицом нашествия племён, "созревающих к оседлости". Расплатой за это были страдания и гибель миллионов людей, уничтожение сотен городов, запустение земли, одичание нравов, медленное умирание культуры. Пятнадцать веков спустя Восток и Запад, вступившие в индустриальную эру, снова стоят перед тем же выбором и той же опасностью. С подозрением и страхом взирая на военную силу друг друга, они не замечают важнейшего обстоятельства: что сами они уже миновали опасный рубеж и стали стабильными обществами, способными контролировать чудовищную мощь, оказавшуюся в руках человека нового времени. Они не понимают, что главная опасность исходит от созревающих стран, какими бы слабыми и отсталыми они ни казались, что именно "общества в переходных состояниях от традиционных к современным формам наиболее уязвимы для захвата власти" экстремистским меньшинством, способным втянуть народ в самоубийственную авантюру; что "единственно разумный исход состоит... в объединённом усилии обеспечить такие условия, чтобы наступление зрелости Юга и Китая не потрясло мир так же, как это случилось, когда Япония, Германия и Россия пришли к зрелости" [62, с. 134].

Однако мы не вправе взваливать всю ответственность на близорукость политиканов. Даже если правительства будут состоять исключительно из прозорливых и образованных людей, даже если чувство ответственности перед будущими поколениями будет наполнять их глубокой тревогой за то, что надвинется на нас 20, 30, 50 лет спустя, они не смогут ничего предпринять, если их народы окажутся способны понимать свои цели и интересы только "здесь, сегодня, сейчас". Правительство, которое потребовало бы от такого народа пожертвовать сегодня какой-то долей национального покоя и самоуверенности ради предотвращения столь удалённых и умозрительных угроз, недолго бы сохранило власть в своих руках. Понять его и откликнуться мог бы только народ, в сознании которого "было" и "будет" имело бы не меньшее значение, чем "есть сейчас", у которого память об отцах и дедах была бы так же глубока и серьёзна, как тревога о детях и внуках, для которого "конкрето" сегодняшнего благополучия не может заслонить "абстрактно" судьбы нации. И если всякому ясно, что в любой развитой индустриальной стране сейчас можно найти несколько сотен прозорливых, знающих, ответственных, волевых людей для того, чтобы сформировать из них аппарат верховной власти, то очевидно, что дело только за народами. За нами.

4. Выбор и зрелость занятых в труде

В любом виде труда люди могут быть уравнены по своему социальному "я-могу", но неизбежно будут различаться по степени своего усердия и искусности. Соответственно будет различаться и продукт их труда – количественно и качественно. Естественно было бы ожидать, что лучшие работники пользовались бы большим вознаграждением за свой труд, большим почётом и уважением.

Однако историческая практика показывает, что происходило это далеко не всегда.

Дело в том, что во всякой сфере деятельности превосходство одного человека над прочими переживается этими прочими болезненно. Если кто-то, кого я считал равным себе, в чём-то меня обогнал, он тем самым открыл мне через сравнение с собой мою несвободу, мое "не-могу", что неизбежно вызовет во мне чувство неудовольствия, какую-то долю страдания. Пытаясь избавиться от этого страдания, я могу либо напрячь свои силы и попробовать сравняться с обогнавшим меня, либо постараться забыть, о его превосходстве, то есть прибегнуть к спасительному неведению.

Первый путь – догнать, – конечно, нелёгко, но и второй в данном случае оказывается непрост. Ведь мой трудолюбивый и умелый сосед живёт не за тридевять земель, а рядом, его достаток и преуспевание возрастают у меня на глазах, он дан мне "инконкрето". Значит, неведение может сработать лишь тогда, когда мне действительно удастся помешать соседу демонстрировать свое превос-ходство, когда я силой заставляю его вернуться к среднему уровню. А так как средний уровень всегда составляет большинство любой группы людей и

Метаполитика. Ефимов Игорь Маркович filosoff.org
мое подсознательное стремление разделяется этим большинством, то сообща нам не будет стоить большого труда принудить его либо уйти от нас, либо отказаться от каких-то особых преимуществ.

Кто же может нам, всемогущему большинству, помешать в осуществлении такого намерения? Властный распорядитель, заинтересованный в поощрении трудолюбивых? Да, пожалуй. Верховная власть и законы, твердо охраняющие права человека на продукт своего труда? Без сомнения, и они тоже. Но заглушить само недоброжелательство, подавить злобную ненависть в самом истоке её – в нашей душе – мог бы только выбор веденья. Только при условии, что искусный труженик и из "абстрактно" изгнания будет являться нашему сознанию с такой же ясностью, как и из "конкрето" соседства, что и в случае лишения его зримых выгод мы будем помнить о его превосходстве, – только это делает бессмысленным всякое преследование его с нашей стороны и оставит единственный путь – попытаться догнать.

Там, где торжествует неведение, жизнь трудовых групп исподволь нащупывает такие формы организации, при которых различия между людьми по трудолюбию и умелости не были бы заметны. Где побеждает веденье, там формы трудовой деятельности изменяются в сторону большей индивидуализации, там неравенство трудовой энергии становится заметным и каждый вынужден брать за эталон не средний уровень производительности, а высший, что поневоле резко повышает количество и качество продукта.

Нигде в истории эта закономерность не проявлялась с большей наглядностью, чем в ситуациях возникновения и распада сельскохозяйственных общин. В большинстве стран община являлась поначалу формой самоорганизации крестьян, обеспечивала взаимопомощь, самозащиту (эко-номическую, а порой и военную), давала начатки нравственного чувства, обучала приёмам труда, осуждала провинившихся, выделяла лучших, поддерживала больных, престарелых и одиноких. Но с течением времени она всё больше и больше делалась опорой неведения, стремившегося уравнивать лентяев с тружениками, неспособных с умелыми, ревниво преследовала всякие попытки нововведений в агротехнике, превращалась в тормоз для развития хозяйства. Было "установлено долгим опытом, что общинные или открытые поля являются крупной помехой общественному благу и улучшениям, которые всякий мог бы сделать на своем поле" [74, с. 131].

В Англии XVI-XVIII веков разрушение общины происходило под знаком так называемых "огораживаний". При общинном землепользовании пахотная земля каждой деревни делилась на три больших поля (трёхпольный севооборот) и все были обязаны придерживаться общего способа обработки. Артур Юнг говорит, что он никогда не видел более жалких урожаев, чем яровые хлеба на общинных полях. Владелец, желавший извлечь из земли большой доход, не мог заставить всю общину применять более прогрессивные методы обработки. Но он мог выделить "огородить", часть общинного поля для тех наиболее смелых и энергичных, кто пожелал бы вести хозяйство на индивидуальной основе.

Естественно, желающие находились.

"Самые крупные огораживания XVI века имели место в Суффолке, Эссексе, Кенте и Нортгемптоншире, которые благодаря этому сделались самыми богатыми графствами" [74, с. 26, 29]. Однако там, где одни производят намного больше других, последние (при господстве рыночных отношений) неизбежно разоряются. Обнищавшие деревни, брошенные дома, толпы нищих, бродящих по дорогам, – вот были бросавшиеся в глаза последствия огораживаний, вызвавшие на первых порах возмущение общества. Во времена Тюдоров (XVI век) все полемисты были на стороне общин и общинников, против огораживаний. Понадобилась двухвековая борьба с неведением, отразившаяся в победах религиозных и политическо-ских, чтобы взгляды общества и в сфере организации труда смогли перемениться. В начале XVIII века "сельскохозяйственные писатели уже стали называть общины сборищем ленивых и вороватых людей, у которых овцы выглядели жалкими, были покрыты клочковатой шерстью и заражены шелудивостью" [75, с. 318]. К концу XVIII века сельское хозяйство страны было почти полностью переведено на начала индивидуальной аренды, и, думается, этот факт немало способствовал тому, что Англия смогла выдержать континентальную блокаду, устроенную Наполеоном.

Аналогичный процесс можно заметить в Древнем Китае. Вплоть до V века до Р. Х. сельскохозяйственная община была настолько цельным организмом, что являлась единицей налогового обложения, связанной круговой порукой и взаимной ответственностью перед центральным правительством. Переход к индивидуальной обработке земли происходил очень медленно. Наделение крестьянской семьи землёй сначала носило временный характер; так как наделы различались по качеству почвы, устраивались постоянные возвраты их и переделы между общинниками. Моменты этих переделов, естественно, сопровождалась раздорами, "вспыхивали такие скверные дела, как волнения, обман и утайка... Широкое распространение частной земельной собственности в

царстве Цинь произошло после проведения в 359-348 годах до Р. Х. реформ Шан Яна, в результате которых была отменена система общинного землепользования, за народом было признано право собственности на земельные участки, разрешалась свободная купля-продажа земли... Из полновластного земельного собственника, какой она была раньше, община превратилась... в самоуправляющееся объединение частных земельных собственников, вне которого землевладение было, по-видимому, невозможно" [58, с. 93, 98]. Представляется очевидной связь между этим процессом и невероятным усилением царства Цинь, приведшим к покорению шести других китайских царств и к образованию в 221 году до Р. Х. первой всекитайской империи (Цинь).

В России XVIII-XIX веков община - мир - тоже играла огромную роль. Существенными особенностями общинного владения землей, каким оно сложилось к реформе 1861 года, можно признать: 1) обязательную уравнительность наделов, 2) строго сословное значение общины и 3) круговую поруку. Земля распределялась соразмерно с рабочей и податной "мочью" крестьян, то есть делилась между дворами по наличным рабочим силам каждого двора, и делилась принудительно.

"Ни этой принудительной уравнительности участков с их переделами, ни сословного характера поземельных крестьянских обязанностей не находим (мы) в сельских обществах XV-XVI веков, - пишет Ключевский. - Крестьянин (тогда) брал себе участок "по силе"... договариваясь об этом с владельцем (земли) без участия сельского общества" [36, т. 3, с. 87]. Таким образом, трудолюбию и рачительности не ставилось пределов и они могли реализовать себя на полную мощь. Мы не имеем точных данных о количестве зерна, производившегося на душу населения в XVI веке, но имеем свидетельство Палицына, писавшего, что "во время трёхлетнего неурожая при царе Борисе у многих в житницах сберегались огромные запасы давно засыпанного хлеба и этими старыми запасами кормились свои и чужие в продолжение 14 смутных лет" [36, т. 2, с. 298]. О наличии подобных излишков в пору расцвета общинного землепользования и крепостного права не могло быть и речи; общая бедность страны этих времен достаточно ярко отражена в русской литературе и путевых записках иностранцев.

Процесс распада общины, начатый реформой 1861 года и набравший силу после "стольпинского" указа 1906 года, заметно интенсифицировал сельское хозяйство, направил силы русского крестьянина на освоение новых методов и новых районов. Однако глубокие традиции жизни в атмосфере общинно-крепостнического неведенья, с одной стороны, половинчатость и непоследовательность политики правительства в крестьянском вопросе (политическое неведение) - с другой, призывы к "доброй старине", вызванные тягостным зрелищем неизбежного обнищания части народа (неведение научно-социологическое), - с третьей - всё тормозило это движение так успешно, что к 1917 году индивидуально-крестьянское землепользование так и не сделалось устойчивым и преобладающим. Именно в этом традиционном неведении, в ненависти мира к "кулаку-миroeду", то есть к крепкому хозяйственному мужику, Сталин мог найти опору и молчаливое пособничество всего народа в одном из самых страшных своих преступлений - в раскулачивании. И только в традициях веденья, утвердившихся в некоторых странах Восточной Европы, можно искать объяснение тому факту, что, несмотря на весь нажим, колхозы в них так и не принялись.

В промышленности оседло-земледельческой эры наиболее распространённой формой организации труда явилось объединение работников по профессиям - цех. Имея отдалённое сходство с нынешним профсоюзом, цех тоже делал "обыкновенно невозможным самостоятельный труд для всякого пришлого негорожанина, а приобрести права гражданства можно было, лишь прослужив свой срок ученичества (около семи лет)" [74, с. 95]. Цех определял цены, следил за качеством товаров, присваивал "квалификацию", наказывал провинившихся, защищал обиженных, помогал обедневшим. Как всякое преодоление анархии в человеческом общежитии, цех изначально был шагом вперед, знаменовал собой победу выбора веденья, заставившую мелких производителей забыть "конкрето" сегодняшней розни и ненависти и сплотиться между собой ради "абстрактно" будущих доходов и преуспевания.

Однако, так же как и сельская община, цех не был повсюду и во все времена одним и тем же. Никогда не утихающее противоборство между веденьем и неведением продолжалось, и именно оно видоизменяло структуру этой организации то в одну, то в другую сторону. Ведь неравенство трудовой энергии в промышленном производстве, где люди работают над одними и теми же изделиями, делается особенно заметно, колет глаза с особенной силой. Поэтому цех мог оставаться кооперацией свободно конкурирующих мастеров только там, где уровень веденья был достаточен, чтобы сдерживать разгорающиеся страсти в известных границах.

Так по большей части и происходило в вольных городах-республиках. Города

эти много терпели от внутри- и межцеховых раздоров, нередко дело доходило до уличных кровопролитий, и всё же они не посягали на самостоятельность и самоуправление цехов. Зато и уровень производства в них был так высок, что по своему богатству они обгоняли многие крупные державы. Пусть во Флоренции цеха часто выходили на площадь с развернутыми знаменами и "стали так могущественны... что всё управление республикой оказалось в их руках" [50, с. 114]; но это были те самые цеха, которые производили самое лучшее в мире сукно и обеспечивали республике господство на всех рынках, служившее источником её невероятного богатства.

Там же, где неведение распространялось настолько, что захватывало верховную власть в государстве, оно немедленно вступало в союз с силами неведения внутри цехов для того, чтобы подавлять всякую личную инициативу и насаждать уравнивательные принципы.

Особенно наглядно этот процесс являет себя в истории крупных деспотий.

В Испании с установлением абсолютизма обнаружится "огромное количество грамот, постановлений, распоряжений, касающихся торговли, сельского хозяйства и ремесла, проникнутых духом протекционизма... С 1494 по 1501 год было дано восемь (королевских) распоряжений, касающихся производства сукон, а в 1511 году - общий свод, включающий 120 законов; в 1494-м принят указ о вышивальщиках тканей; в 1496-м - об оружейниках Овьедо; в 1499-м - о башмачниках, и так далее... Возрастает стремление к мелочной регламентации и громоздким техническим предписаниям (причем инициатива регламентации исходит часто от самих ремесленников)... Например, в уставе 1481 года предписывается, чтобы башмаки имели не больше одной подметки; в другом уставе - 1500 года - запрещается кроить одежду поперёк, оторачивать куртки мехом и т. д.; следует отметить также тенденцию цеховых статутков к наивозможному уравниванию условий работы различных мастеров... Сырьё распределялось поровну между мастерами и строго преследовались нарушения подобных правил. Но больше всего вреда причиняло широко применявшееся регулирование цен" [1, т. 1, с. 487, 490].

Когда неведение проявляется в переходе к уравнительному наделению землей внутри общины, его можно лишь угадывать. Когда же оно обретает язык закона или постановления, его можно опознать с первого слова. Сама мелочность подхода к хозяйственным проблемам демонстрирует ум, совершенно неспособный к абстрагированию, отзывающийся только на конкретное. Так и видишь этих предпримчивых мастеров, чьи прочные башмаки с двумя подметками или красивые куртки, экономно выкроенные (поперёк) и отороченные мехом, пользовались, должно быть, особым спросом, и так и слышишь жалобы их завистливых и нерадивых собратьев по ремеслу, добивающихся наконец у власти желанной цели: запретить!

Всё это происходило во времена, когда Испанией управляли далеко не худшие короли. "Католическим супругам", Фердинанду и Изабелле, судьба их страны и народа отнюдь не была безразлична. Они проводили свои дни в государственных заботах, стремились покончить с любой внутренней распрей или раздором, о которых им становилось известно. Они даже могли считать себя отзывчивыми, ибо действительно отзывались - на самые громкие жалобы. Жалуется же громче всех, как правило, неведение, стремящееся заглушить собственным криком сознание своей несостоятельности. Из среды духовенства громче всего доносились вопли о проникновении ересей, и венценосные супруги, не будучи по природе жестокосердными, учредили тем не менее особую инквизицию с Торквемадой во главе. Из среды испанской знати неслись жалобы на захват мест инородцами, и они ввели "испытания чистоты крови, требовавшие от претендентов на государственные должности доказать, что в их роду не было лиц еврейского и мавританского происхождения" [1, т. 1, с. 453] (при том что духовником королевы был выкrest Эрнандо де Талавера). Среди финансистов, предпринимателей и торговцев, как всегда, находились такие, кто сваливал свои неудачи на засилье евреев, - и они в 1492 году постановили изгнать из страны полумиллионный народ. Что уж после этого говорить об удушении мелочной опекой? Но думается, что и это было немаловажным этапом в той работе, которую надо было проделать неведению, чтобы довести цветущую страну до той пропасти нищеты и позора, в которой она оказалась сто лет спустя.

Абсолютная неконтролируемая власть одного человека над государством есть апофеоз торжества неведения в политической сфере. С вершины трона неведению гораздо легче проникнуть и в остальные сферы общественной жизни. Потому-то те же черты устройства производственной жизни (мелочная регламентация, опека, запрещение всяких отклонений даже в лучшую сторону) мы находим почти во всех империях: Римской, Византийской, Турецкой, Российской. Они же демонстрируют нам другую общую черту: принудительное дробление ремесла на мелкие специальности. В Византии "под страхом наказания плетью и конфискации имущества запрещалось заниматься двумя различными ремеслами,

Метаполитика. Ефимов Игорь Маркович filosoff.org
даже близко подходившими друг к другу" [5, с. 603]. В Риме с установлением империи "процесс обособления отдельных ремёсел... заметно подвинулся вперед. В кузнечном деле не только различаются обработка меди и железа, но и эти последние, в свою очередь, распадаются: обработка меди – на профессии выделывателей горшков, канделябров, фонарей, гирь, шлемов и щитов; обработка железа – на профессии слесарей, ножовщиков, изготовителей топоров, мотыг, серпов и так далее" [77, с. 234].

Некоторые историки склонны рассматривать эту черту как положительную, видя в ней прогрессивное разделение труда. На самом же деле к разделению труда в современном смысле слова, то есть к разделению процесса производства одного изделия на ряд простейших технологических операций, подобная практика никакого отношения не имеет. Когда под угрозой наказания плетью изготовителю топоров запрещается изготавливать ножи, мотыги или серпы, делается это не для того, чтобы он достиг совершенства в изготовлении топоров, а лишь для того, чтобы исключить всякую возможность конкуренции, чтобы установить для каждой профессии глухую, неуязвимую монополию – мечту всякого неведающего. Пусть рынок завален топорами, пусть их никто не покупает, а из-за нехватки серпов погибает урожай на полях – неведенью нет до этого дела. Сиди и штампуй свои топоры, лишь бы не нарушалась монополия.

В пределе своём подобная тенденция приводит к образованию ещё более опасного явления – производственных каст, в которых сын автоматически наследует профессию отца. Так, в Спарте "глашатаи, флейтисты и повара наследовали отцовское ремесло; на смену потомкам глашатаев не назначали посторонних из-за зычного голоса, но должность оставалась в той же семье" [15, с. 290]. Иметь глашатая, голос которого едва слышен впереди стоящим, ещё не так страшно. Но когда число, скажем, каменщиков зависит не от потребности в них, а от их плодовитости; когда пекари выпекают хлеб с любыми примесями, ибо знают, что покупателям всё равно некуда податься; когда горшечники как хотят поднимают цены на свой товар, а кузнецы как хотят понижают цены на уголь для горнов; когда зубодёры в погоне за заработком вырывают три здоровых зуба прежде, чем доберутся до больного; когда оружейники выпускают по отцовским заветам медные мечи, несмотря на то что неприятель подступает к границам уже с железными, – тогда всё общество оказывается на грани катастрофы. Именно такое положение и устанавливалось в конце концов в некоторых странах весьма древней культуры – "Индии или Древнем Египте, где каждый человек в силу религиозных правил обязан был наследовать профессию своего отца и где самым ужасным святотатством считалось менять её на другую профессию" [64, с. 61].

С того момента, как неведенье укрепится в сфере организации труда под видом религиозных правил, никакая даже самая сильная, разумная и дальновидная власть изменить ничего не сможет. Любая попытка реформы столкнется с разъярённой корпорацией производителей, приученных смотреть на свою монополию как на святое право, завещанное отцами, и готовых скорее восстать или умереть с голоду, нежели перейти к иной организации труда, требующей от них большей отдачи энергии, большей сосредоточенности и ответственности. Конечно, они страдают при этом, как и все, от общей слабости и отсталости государства, от собственной бедности, от болезней, тесноты, необразованности. Но для того чтобы они могли связать "абстрактно" предлагаемой реформы с "конкрето" своих несчастий и пожертвовать ей "конкрето" своих монопольных прав, для этого нужны такие значительные победы выбора веденья, такое возрастание духовной зрелости, которые возможны только при глубоком духовном движении или при мощном толчке извне.

В наши дни самым мощным толчком, самым серьёзным испытанием зрелости народа был и остается момент перехода из эры оседло-земледельческой в эру индустриальную.

Когда лодки, спускающиеся по реке, достигают бурного порога, гребцам нужно особенно дружно грести, чтобы рулевой мог направлять лодку точно по фарватеру, чтобы она слушалась кормила. Если же гребцы пытаются в страхе затормозить, или вступают в споры, или поднимают вёсла и отдаются на волю волн, тогда никакой рулевой управлять не сможет. Лодка начнёт биться о камни, терять людей, грузы, а то и вовсе разлетится в щепы.

То же самое происходило и с государствами, преодолевавшими на наших глазах грандиозный исторический "порог". Только те из них, кому выбор веденья обеспечивал высокий уровень зрелости, где "рулевые" и "гребцы" действовали в известном согласии, смогли преодолеть его почти без потерь. Для остальных же переход этот неизбежно сопровождался трагическими и кровавыми событиями. И чем дальше они продвигались вперёд, тем глубже неведенье проникало во все сферы их общественной жизни. Однако и те страны, которые ушли далеко вперед и, казалось бы, счастливо обогнули множество подводных камней и водоворотов, столкнулись сейчас с новой угрозой

Метаполитика. Ефимов Игорь Маркович filosoff.org
распространения неведения - и именно в сфере труда.

Профсоюзы так же, как и в прежние времена община и цех, преследовали при своем возникновении благую цель: защитить права трудового населения, организовать его, упрочить его положение в "мы", вооружить против бесстыдной эксплуатации, преодолеть беспорядочную борьбу и побоища между самими производителями. Каждая из этих организаций поначалу явилась крупной победой веденья в деле социального устройства. Но всякая победа веденья превращает "абстрактно" маячившей впереди цели в "конкрето" твердо удерживаемых прав. А чем шире и богаче "конкрето", тем сильнее возбуждает оно человеческие страсти здесь и сейчас, тем сильнее позиции неведения. И вот над профсоюзами, как в своё время над цехом и общиной, нависла угроза превратиться из орудия самозащиты в орудие завоевания монополии.

Что значила монополия какой-нибудь профессии в прежние времена? Конечно, она тормозила прогресс производства, конечно, не позволяла своевременно удовлетворять рынок, конечно, порождала перепроизводство ненужных и некачественных товаров. И всё же она не представляла смертельной угрозы существованию общества.

Не то теперь.

Разделение труда и взаимозависимость различных отраслей хозяйства достигли таких степеней, что временный отказ от работы любой профессии ставит всех остальных членов "мы" в безвыходное положение. Любой профсоюз, пользующийся неограниченным правом забастовки, приобретает огромную власть. Электрики, шахтеры, машинисты, почтальоны, лётчики, врачи, строители, шофёры, продавцы, моряки, грузчики, телефонисты, водопроводчики по очереди хватают государство за горло, требуя повышения своей зарплаты и не обращая внимания на то, что повысить её можно только за счёт других профессий, которые в свою очередь вынуждены будут прибегнуть к крайним мерам.

В странах с традиционно высоким уровнем зрелости профсоюзы пока способны выслушивать какие-то резоны и умерять свои требования ради общенациональных нужд. Но и там рост заработной платы настолько обгоняет рост производительности труда, что инфляция делается хронической болезнью их экономической жизни. В тех же странах, где традиционное неведение удержало свои позиции и при переходе в индустриальную эру, независимость профсоюзов не раз уже приводила государство на грань полного банкротства и катастрофы (последний пример: Италия 1974 года).

Остановившиеся поезда и автобусы, закрытые отели, потухшее электричество, запертые магазины, молчащие телефоны, неубранные кучи мусора на улицах, вся чехарда бесконечных забастовок настолько утомляют обывателя, что он начинает с оттенком зависти коситься в сторону тоталитарных государств, где неведение восторжествовало в виде политического порядка, где профсоюзы занимаются исключительно распределением путёвок в дома отдыха и всё кажется таким устойчивым и спокойным. Он уже поговаривает о преимуществах такой власти, о необходимости покончить с распухленностью, он уже подаёт на выборах свой голос за тех, кто обещает свести на нет права и свободы профсоюзов.

О, этот обыватель! Если б его окунуть на несколько месяцев в то, что кроется за фасадом устойчивости и спокойствия. Если б он пробегал несколько дней по железнодорожным кассам, пытаясь попасть на исправно движущийся поезд; если б он провёл несколько ночей в вестибюлях гостеприимно открытых гостиниц, где никогда нет мест; если б ему довелось по нескольку раз носить в ремонт только что купленные электроприборы, которые не может заставить работать даже самая стабильная электросеть; если бы выстоял он несколько многочасовых очередей в аккуратно открывающихся магазинах; если б получил пятизначный номер в многолетней очереди на телефон; если б не день и не два, а иногда по нескольку лет карабкался по дороге домой через кучи строительного мусора, оставленного строителями-рекордсменами; если б он курил сигареты со щепками, ел в столовых котлеты наполовину из хлеба, выбрасывал половину купленной в магазине картошки (гнилая), обувал ботинки, имеющие официальный гарантийный срок 25 дней, получал из прачечной изодранное в клочья бельё и так далее, и тому подобное, тогда бы он одумался и понял, что качество и количество потребляемых им товаров находятся в прямой зависимости от социальных "я-могу" тех, кто производит эти товары, что права профсоюзов, охраняющие это "я-могу", не такой пустяк, чтобы им можно было швыряться по первому импульсу раздражения. Не испытай же всего этого в "конкрето" собственного опыта, имея лишь "абстрактно" газетно-журнальной информации, он сможет задавить свое озлобление против забастовщиков и причиняемых ими неудобств только в том случае, если (снова и снова) в нём самом и в его окружении выбор веденья будет поддерживать феномен зрелости на уровне достаточно высоком, устойчивом и прочном.

Всё сказанное в этой главе можно обобщить в следующем резюме:

В сфере организации труда в любую эпоху веденье стремится поставить

Метаполитика. Ефимов Игорь Маркович filosoff.org
положение работающего в зависимость от качества и количества его труда, стимулируя тем самым рост производительности; неведение насаждает уравнилельный принцип, пытается повсеместно сгладить разницу между энергичным и вялым, искусным и неспособным, рачительным и беспечным, что способствует упрочению социального мира, но ведёт к резкому спаду производительной мощи во всех отраслях хозяйства.

5. Веденье и неведение в борьбе за распорядительную функцию

С тех пор как многократное усложнение производства, связанное с переходом к оседлой жизни, вызвало появление особого класса распорядителей, неизбежно возник вопрос: кто будет распоряжаться? по какому признаку должно отбирать людей, допускаемых к участию в распорядительной функции?

Еще находясь в кочевом состоянии, почти все "мы" независимо друг от друга выработали твёрдое понятие личной собственности. И почти всюду в моменты перехода виден первоначальный импульс сохранить это понятие неизменным, то есть предоставить распорядительство собственникам.

Распространение денег, казалось, делало понятие собственности универсальным. Пятикнижие, Коран, древние "правды" германцев пытались перевести на денежный язык штрафов даже систему наказаний за уголовные преступления, и, наоборот, за нарушение денежно-имущественных обязательств человек расплачивается личной свободой. Так же и в Русской Правде "целость капитала, неприкосновенность собственности обеспечивается личностью человека. Купец, торговавший в кредит и ставший несостоятельным по своей вине, мог быть продан кредитором в рабство... Можно сказать, что капитал – самая привилегированная особа в Русской Правде" [36, т. 1, с. 243, 248]. Социальное "я-могу" любого члена "мы" приобретало таким образом точную меру: оно равнялось стоимости его имущества и капитала плюс личная свобода, которую он мог перевести в деньги, продав или заложив себя в рабство.

Однако все эти кажущиеся удобства вскоре показали свою изнанку.

Низведение социального "я-могу" человека к денежному эквиваленту шло вразрез с системой социальных "я-могу" родового строя. Вместо строгого, освящённого религией и обычаем порядка старшинства и взаимного подчинения наступала какая-то чехарда обогащений, разорений, ссор, семейных разрывов, порабощений. С другой стороны, появлялся новый вид богатства, который не укладывался в прежние представления о собственности, – земля. Было понятно, как можно владеть скотом, шатрами, одеждой, золотом, рабами. Но землёй?.. Ее ведь нельзя было унести с собой или припрятать или уничтожить. Реализовать факт владения можно было только с оружием в руках, отражая притязания любых пришельцев. Отсюда во многих "мы" возникало как нечто само собой разумеющееся убеждение, что земля должна принадлежать тому, кто её защищает, – воину. Так возникли аллоды и бенефиции у франков, лены у норманнов, тимары у персов и турок, поместья у русских. Воин служил вождю, государю, он защищал землю и на этом основании распоряжался ею. Постепенно понятия, образующие этот порядок, расширялись и вскоре не только на война, но и на всякого человека, несшего службу в пользу верховной власти, стали смотреть как на естественного исполнителя распорядительной функции. На исторической сцене возник распорядитель-служащий, чиновник.

Не только земля явилась новой формой богатства при переходе к оседло-земледельческой эре. Каменные дома, мощёные дороги, ирригационные сооружения, храмы, городские стены и укрепления не укладывались в традиционные представления личного обладания. И тем не менее кто-то должен был руководить их строительством, следить за качеством исполнения, за сохранностью и своевременным ремонтом. Как правило, за такие многотрудные и ответственные дела могла браться только организация – община, храм, монастырь. Появилась третья форма распорядительства – корпоративная.

В первой части книги уже шла речь о том, что весь объем распорядительной функции в любом оседло-земледельческом "мы" всегда распределялся между частными собственниками, государственными служащими и корпорациями. Одна из форм на долгий период могла стать доминирующей, но и две другие оставались при этом и никогда не были устраняемы полностью. Нельзя сказать, какая форма распорядительства лучше, какая хуже; различные отрасли государственной экономики в различные периоды времени требуют от распорядителя то максимальной инициативы, энергии, мобильности, то, наоборот, дисциплины, субординации, стабильности. Поэтому можно говорить только об оптимальном сочетании всех трёх форм и о тех силах, под действием которых происходит процесс перераспределения между ними всего объёма распорядительной функции, то приближающий их к оптимуму, то удаляющий от него. Первое, что бросается тут в глаза: процесс этот должен был всегда вызывать острейшую социальную напряжённость, сопровождаться скрытой и явной борьбой между различными группами распорядителей. Участие в

Метаполитика. Ефимов Игорь Маркович filosoff.org
распорядительной функции всегда даёт человеку значительное расширение социального "я-могу". Поэтому всякая передача распорядительных прав от одних к другим встречается гневным возмущением обделяемых и радостным энтузиазмом одаряемых. История любого государства полна описанием смут и массовых кровопролитий, вызванных борьбой за обладание распорядительной функцией. При этом, кажется, нет человека, который бы честно сознался: "Я не способен быть распорядителем". Напротив, каждый считает, что уж он-то бы показал, как надо заправлять хозяйством, дайте только волю.

Нетрудно составить перечень свойств, необходимых идеальному распорядителю. Ясно, что он должен быть предусмотрителен, сообразителен, энергичен, честен, законопослушен, что ему надлежит обладать запасом специальных знаний и некоторыми организаторскими способностями. Ясно также, что чем в большей степени он обладает этими качествами, тем шире должны быть его полномочия в хозяйственной жизни. Наконец, яснее всего остаётся, что ни такого идеального распорядителя, ни такой прямой связи между способностями и возможностями нигде не существует, что речь может идти только о степени приближения к ним.

Иными словами, оптимальное устройство распорядительной функции подразумевает не только оптимальное распределение всего объёма распорядительства между собственниками, корпорациями и чиновниками, но и правильный отбор распорядителей по их личным качествам; не только форму, но и наполнение.

Попробуем теперь проследить, каким образом выбор веденья способствует приближению распорядительной функции к оптимуму и каким образом неведение противоборствует ему.

а) Угроза оптимальному распорядительству со стороны неведения народных масс

Что может быть естественнее, чем ненависть бедности к богатству, бесправия к привилегиям? Чувство это во все времена является таким известным и общераспространённым, что нет нужды приводить примеры его проявления в бессмысленных жестокостях бунтов, восстаний, революций. Гораздо плодотворнее для нашего исследования было бы отыскать в истории такую ситуацию, в которой "конкрето" этой ненависти оказалось бы преодолённым при помощи "абстрактно" моральных требований или соображениями общественной пользы.

Но отыскать такой пример чрезвычайно трудно. Ведь всякий государственный порядок для подавления страстей толпы использует ту или иную меру насилия, поэтому выделить элемент народного самообуздания почти невозможно. Попробуйте отличить, какая доля общественного спокойствия обеспечена полицией и войском, а какая - сдержанностью народных масс.

Разве что знаменитое удаление плебеев на Священную гору в Риме в 494 году до Р. Х. являет нам необъяснимый феномен такого массового самообладания. Ведь это не было бегством напуганного, замученного тяжким трудом народа. Нет, это вооружённая армия вернулась из победоносного похода против сабинян, вольсков и эквов и требовала обещанных прав и освобождения должников. И когда сенат отказал, что помешало ей ворваться на улицы и силой добиться выполнения своих требований? "Сначала, говорят, (плебеи) поговаривали об убиении консулов, чтобы им можно было освободиться от (данной ими военной) присяги, но затем, узнав, что никакое религиозное обязательство не уничтожается преступлением, плебеи по совету какого-то Сициния удалились без позволения консулов на Священную гору, на расстоянии трёх тысяч шагов от города... Там они спокойно простояли несколько дней в лагере, укрепленном валом и рвом, брали только необходимое для поддержания жизни... В Риме царил ужасная паника и взаимный страх привёл всех в недоумение... Затем стали говорить о примирении и согласились на условиях, чтобы у плебеев были свои неприкосновенные магистраты (трибуны), которые бы подавали помощь против консулов и чтобы ни один патриций не имел права взять себе эту магистратуру" [47, т. 1, с. 97].

Было ли это традиционным почтением к авторитету правителей, или религиозным чувством, или отвращением к братоубийственной резне, или признанием за патрициатом особых прав - так или иначе сила, удержавшая в тот момент армию от кровопролитий, могла крыться только в сфере абстрактных представлений. Коль скоро сила этого этически-религиозного "абстрактно" оказалась так велика, что смогла подвигнуть массу вооружённых людей обуздать "конкрето" своего возмущения и обиды и уйти от родных очагов, мы можем сказать, что уровень зрелости этого народа был необычайно высок, а последующая слава римлян - вполне заслуженной. Даже если допустить, что обстоятельства удаления на Священную гору в значительной мере легендарны, важнейшим фактом остается то, что народ с гордостью хранил именно эту

Метаполитика. Ефимов Игорь Маркович filosoff.org
легенду, а не рассказы о том, как он выпускал кишки богачам и резал головы знатным.

В этом отношении раннереспубликанский Рим в течение долгого времени оставался недостижимым примером для многих других республик, стремившихся подражать ему. С грустью сравнивает с ним Макиавелли историю своей родной Флоренции. "Противоречия, возникавшие с самого начала в Риме между народом и нобилиями, приводили к спорам; во Флоренции они выливались в уличные схватки... Когда во Флоренции побеждали пополаны, нобили не допускались к должностям и, если они желали снова быть допущенными к ним, им приходилось не только уподобиться простому народу в поведении своём, и в чувствах, и во внешнем обиходе, но и казаться всем такими... Так и получилось, что воинская доблесть и душевное величие, свойственные вообще нобильскому сословию, постепенно угасали" [50, с. 99]. Не легче приходилось распорядителям-собственникам и во многих полисах Древней Греции. Там "бедняк поднял против богатства настоящую войну. Война эта прикрывалась сначала законными формами: на богатых взвалили все общественные расходы, обременили их чрезмерными налогами, велели им строить триремы, требовали, чтобы они давали народу праздники. Потом усилили в судах денежные пени: за малейшую погрешность приговаривали к конфискации. Трудно сказать, сколько людей было осуждено на изгнание только за то, что они были богаты... Но число бедных всё увеличивалось. Тогда они воспользовались своим правом голоса, чтобы постановить или уничтожение долгов, или сплошную конфискацию, а с этим водворить и всеобщее полное расстройство" [80, с. 390].

Народному сознанию было не по силам обнаружить прямую связь между этим увеличением общей бедности и ущемлением распорядителей, которому предавались с такой страстью. Оно видело лишь "конкрето" собственного обнищания и "конкрето" их богатства и не понимало, почему же конфискации не обогащают народ, а лишь усугубляют общее разорение. Во всех республиках, где уровень зрелости народа был недостаточен для подавления личной зависти абстрактными соображениями о полезности частнособственнической формы распорядительства, всюду возникали кровавые побоища и распри. Достаточно вспомнить Великий Новгород, где борьба "меньших с большими, купцов и чёрных людей с боярами и житыми людьми... сплошь и рядом превращалась в открытое междоусобие, сопровождавшееся убийствами, грабежом и сожжением дворов" [49, с. 196]. Под гнётом этой повседневной ненависти и всенародного деспотизма сами распорядители постепенно склонялись к мысли о необходимости пожертвовать какой-то частью столь дорогой им свободы. Они начинали искать новые формы общественного порядка, власть достаточно сильную, чтобы обуздать разгулявшиеся страсти толпы, но, найдя её в лице какого-нибудь иноземного владыки или собственного властолюбца, чаще всего попадали из огня да в полымя.

б) угроза оптимальному распорядительству со стороны неведенья верховной власти

Действительно, сильной власти легче преодолевать несовместимость между врождённой человеческой страстью к равенству и необходимостью сделать распорядителя не равным всем прочим, предоставить ему большее социальное "я-могу". В истории встречается немало монархов, искренне стремившихся дать своему государству процветание и внутренний мир, озабоченных сохранением правильного строя социальной пирамиды.

Но любой монарх остаётся человеком, и в душе его продолжается каждый день борьба между веденьем и неведеньем.

Добро тем народам, которыми правят владыки мудрые, прозорливые, сдержанные. Когда же неведенье получает в монаршем сердце решительный перевес, тогда все стороны жизни в его государстве, и распорядительная функция в том числе, оказываются под серьёзной угрозой. Собственные сиюминутные страсти, прихоти, порывы, суеверия, страхи, предрассудки становятся тогда для единовластного повелителя главнейшим руководством в его действиях. Даже соображения реальной выгоды и пользы в ближайшем будущем не могут теперь подействовать на него. Он видит и понимает только здесь и сейчас.

Главная вещь, которая нужна владыке здесь и сейчас, – это деньги. Пользуясь неограниченной властью, он всегда находится лицом к лицу с соблазном добыть деньги незаконным путем, а там хоть потоп. Монополия на чеканку монеты или выпуск банкнотов, например, даёт ему возможность расплачиваться обесцененными деньга-ми. Византийские императоры, турецкие султаны, испанские короли пускали в оборот огромное количество монет низкой пробы, сберегая на этом тонны золота и серебра. Французский король Филипп Красивый (1285–1314) даже заслужил прозвище "фальшивомонетчик": в его царствование "монеты подделывались почти ежегодно, из 56 королевских указов

Метаполитика. Ефимов Игорь Маркович filosoff.org
о монетах 35 имели предметом их подделку" [18, т. 3, с. 285].

Другой способ – принудительные займы (как правило, без отдачи). Абсолютизм постепенно приходит к убеждению, что кошельки и сундуки его подданных должны быть открыты для него в любое время. Он запускает в них руку когда вздумается, а всякое выражение недовольства объявляет бунтом. Он посылает сборщиков "добровольных" пожертвований обходить дома горожан, как Филипп II в Испании, или ставит их у касс, выдающих зарплату, и заставляет подписываться на займы, как Сталин в России. Когда же придёт объявленный срок платежа, властитель либо сделает вид, что ни о чём не помнит, либо объявит себя банкротом (Эдуард III Английский, Карл II Испанский) – и пусть кредиторы попробуют взыскать с венценосного должника.

Пошлины на ввоз и вывоз, установление внутренних таможен, обложение всякой торговой и промышленной активности, а с другой стороны – продажа откупов и монополий за бешеные деньги – эти и им подобные финансовые приёмы можем встретить почти в любой деспотии. Естественно, промышленность и торговля приходят в упадок, а вслед за ними, не получая сбыта, хиреет и сельское хозяйство. Всякий человек, имеющий капитал, спешит припрятать его; всякое предприятие, приносящее доход, спешит закрыться, чтобы не привлекать жадных взоров властей; всякое нововведение и усовершенствование душатся в зародыше господством монополий; всякий товарообмен замирает под грузом непосильных пошлин.

До тех пор пока абсолютная власть находится в руках человека, избравшего неведение, надеяться на перемены в хозяйственной жизни не приходится. Для того чтобы распорядительная функция могла возобновить свою нормальную деятельность при сохранении единовластия, нужен, по крайней мере, здравый смысл Елизаветы Английской, которая "немедленно и сразу уничтожила все дарованные ей самой монополии" [20, т. 2, с. 390], когда палата общин разъяснила ей таящуюся в них опасность; или дальновидность Ашшурбанипала, восстановившего права крестьян – земельных собственников; или смелая энергия Петра I, осознавшего своим умом еще до Адама Смита, что богатство государства состоит не столько в золоте, сколько в производительной мощи. В противном случае распорядитель окажется первой жертвой близорукой жадности неведения, облечённого всей полнотой верховной власти.

Конечно, все вышесказанное не значит, что властное неведение питает отвращение к распорядительной функции как таковой. Кто-то должен распорядиться – с этим оно вполне согласно. Ему ненавистен в первую очередь распорядитель-собственник. Причем чувство это в некоторых случаях наглядно демонстрирует свою иррациональность. Китайский император Цинь Ши-хуанди хвастался тем, что "заставил (население) заниматься основным делом; поощрял земледелие и искоренял второстепенные занятия" [58, с. 161], то есть торговлю и финансовую деятельность. Сталин с таким же упорством искоренял эмпанов. И тот и другой деспот испытывали острую нужду в денежных средствах, и тот и другой могли бы получить умеренными налогами от торговцев гораздо больше, чем конфискациями и застенками. Но неведение тем и отличается, что может зарезать даже курицу, несущую золотые яйца.

Чаще всего коронованное неведение стремится прибрать распорядительную функцию к рукам, вытеснить распорядителя-собственника распорядителем-служащим. Ему кажется, что таким образом все возможности распорядительства окажутся в его руках. Чиновничья сеть Древнего Египта, Китая, Византии, Турции, Испании, России порой достигала таких размеров, что принимала на себя основной (а порой и весь) объём распорядительной функции. Даже там, где распорядитель-собственник был ограждён от покушений кастово-сословными барьерами, центральная власть порывалась ущемить его права, передать их своим слугам. Во Франции Людовика XIV поместное дворянство посредством развития сети чиновников постепенно было превращено из класса активных распорядителей в паразитирующую прослойку. "Всё законодательство и вся административная практика согласно и неуклонно действовали против местного владельца, стараясь отнять у него все живые общественные функции и оставить его при одном голом титуле... Уже с давних времён дворяне очень слабы против интенданта короля. Двадцать человек дворян не имеют права собраться вместе, чтобы обсудить какое-нибудь дело, без особого дозволения короля... Управление деревней совершенно не касается местного владельца, так что он не имеет даже права надзора: раскладка налогов, набор рекрутов, поправка церкви, созыв приходского собрания, прокладка дорог, основание благотворительных учреждений – всё это дело интенданта или общинных властей, назначаемых интендантом... Удалённый от дел, свободный от налогов, дворянин живет одиноким, чужим среди своих вассалов. Он является к возделывателям этой земли, и без того уже истощённой казёнными поборами, лишь для того, чтобы потребовать свою долю" [76, с. 54, 53, 58].

Подобное выхолащивание распорядителя-собственника превращает

Метаполитика. Ефимов Игорь Маркович filosoff.org
экономическую жизнь государства в судорожное переполнение от одного урожая до другого и рано или поздно приводит его на грань катастрофы. "Народ походит на человека, бредущего через болото, где вода восходит ему до рта: при малейшем понижении дна, при малейшей волне он теряет почву под ногами, погружается в воду и захлебывается... Мрачен вид страны, в которой сердце перестало гнать кровь по самым отдалённым жилам... Из главных провинциальных городов Франции отходила в Париж раз в неделю одна почтовая карета, да и та не всегда бывала полна: вот вам что касается денежных дел. Из газет имелась только одна "Газетт де Франс", выходявшая два раза в неделю: вот вам что касается движения умов" [76, с. 439, 68].

А ведь это сказано о Франции Монтескье, Вольтера и энциклопедистов! Что же тогда говорить о других?

В Испании XVII века, пронизанной клерикально-чиновничьей саркомой насквозь, голод и голодные бунты были обычным явлением. В странах же, подобных Турции, Китаю или России, неведение порой достигало столь полного торжества, что ни один беспристрастный свидетель не допускался проникнуть дальше дипломатических приёмных, а когда проникал и пытался описать, что там творилось, цивилизованный мир отказывался верить – так это было страшно. "Я удалялся в деревни и изучал положение людей, обрабатывающих землю, – пишет Франсуа Вольней о Турции XVII века. – И повсюду я видел только грабительство и опустошение, только тиранию и нищету" [56, с. 215]. "Князья и дьяки определяются на место самим царем и в конце каждого года обыкновенно сменяются, – сообщает нам Флетчер о России времен Годунова. – Метод обогащения царской казны состоит в том, чтобы не препятствовать насилиям, поборам и всякого рода взяткам, которым должностные лица подвергают народ в областях, но позволять им всё это до окончания срока службы, пока они совершенно насытятся; потом поставить их на правож и вымучить из них всю или большую часть добычи... В какой же степени поступки тамошних властей тягостны и бедственны для несчастного угнетённого народа, населяющего эту страну" [79, с. 48]. В ханском Китае коррупция чиновничьей системы довела страну до того, что "торговля замерла... в 204 году был издан указ о сборе всех налогов натурой, а несколько позднее императорским указом были отменены деньги, и в качестве средства обмена стали употребляться зерно и шёлк... (Голод был такой, что) люди превратились в людоедов, и кости мертвецов были разбросаны по всей стране" [68, т. 2, с. 537].

И тем не менее распорядитель-служащий демонстрирует необычайную историческую живучесть. Его позиции укрепляются не только неведением центральной власти. Неведение трудового народа также скорее соглашается терпеть над собой назначенного чиновника, нежели частного владельца. Когда обширное социальное "я-могу" распорядителя связано лишь с занимаемым постом, а не с личностью человека, зависть меньше терзает душу большинства, и социальный мир становится легче достижимым. Распорядителем-собственником может быть только человек определённых способностей, распорядителем-служащим может быть всякий – лишь бы он готов был исправно следовать приказаниям начальства и инструкциям. Свободных предпринимателей часто поражает отсутствие деловых качеств у "деловых людей" тоталитарных государств, то есть у чиновников. Они не понимают, что в условиях строгой чиновничьей субординации выдающиеся качества становятся пороком, а сокрытие, подавление или, еще лучше, отсутствие их – добродетелью. Они также не отдают себе отчета в том, что отсталый народ порой и не имеет достаточного числа способных, знающих, ответственных и энергичных людей для формирования распорядительной функции на частнособственническом принципе; на служебном же принципе распорядительную функцию можно построить всегда, из любого человеческого "материала".

Здесь мы вплотную подошли к важнейшему моменту – к личным качествам распорядителя.

в) Угроза оптимальному распорядительству со стороны неведения

самих распорядителей

"кто способен предвидеть и предусматривать, тот и господин" [4, с. 3]. Это замечание Аристотеля в переводе на язык метаполитики будет звучать так: "По выбору веденья распорядитель должен значительно превосходить средний уровень". Мало того что ему надлежит быть прозорливым, внимательным, знающим, сообразительным, целеустремленным, обладать чувством личной и социальной ответственности – уровень веденья его должен быть так высок, чтобы ему было по силам совладать с "конкрето" незаурядного богатства и влияния, связанного с распорядительством, не ослепнуть от блеска золотого

тельца.

По страницам реалистических романов XIX и XX веков бродят десятки героев одной и той же судьбы: пылкий, одарённый юноша вступает в жизненную борьбу, исполненный лучших намерений и высоких идеалов, но чем большего успеха он добивается благодаря своим талантам, тем становится грубее, эгоистичней, безжалостней, тем полнее жажда богатства и власти подчиняет себе его душу. Нечто похожее происходило много раз в истории и с целым сословием распорядителей. Проявляя в начале своего поприща незаурядные деловые и нравственные качества, оно достигало заметного процветания, но затем само это процветание становилось той почвой, на которой неведенье распускалось пышным цветом и в конце концов заглушало всё достигнутое.

Любая из трех возможных форм распорядительства оказывается уязвимой для проникновения неведенья – каждая на свой манер.

Служебное распорядительство нуждается в преобладании выбора веденья, как никакое другое. Честный, исполнительный, знающий чиновник, преданный долгу, готовый "за совесть" исполнять свои обязанности лучше, чем "за страх", – вот главное условие, при котором служебная форма может быть достаточно эффективной. Возможно, при своем зарождении в переходные эпохи она в значительной мере опирается на то, что под рукой есть достаточное количество людей высокого уровня веденья.

Так, население Малой Азии под управлением завоевателей-сельджуков поначалу почувствовало некоторое облегчение после изощрённого грабежа, которому его подвергали византийские чиновники, вконец распустившиеся при слабой династии Ангелов. Турки даже "предоставили свободу крепостным и рабам из поместий византийских феодалов" [56, с. 8], и поначалу каждый воин-ленник довольствовался сбором одной десятой урожая со своего лена. Должно было пройти несколько десятилетий, прежде чем он, поддаваясь развращающему действию богатства, вошел во вкус и начал грабить отданных на его волю крестьян не хуже своих предшественников.

После завоевания Англии "простые нормандцы сделали богатыми и влиятельными людьми в новых владениях их государя. Каждое поместье, крупное или мелкое, жаловалось на условия службы его владельца по требованию короля". Конечно, "военнослужащие" Вильгельма Завоевателя не были самыми гуманными распорядителями, но, по крайней мере, привычка к воинской дисциплине удерживала их от бессмысленных жестокостей по отношению к управляемым. Пятьдесят лет спустя ленные владельцы из старательных слуг короны превратились в жадных и непокорных грабителей, ослеплённых страстью наживы и власти. Англия оказалась "в руках баронов, и их насилия дают понятие о тех ужасах, от которых её спасало суровое правление норманнских королей" [20, т. 1, с. 102, 121].

Так и в наши дни – расширение служебной формы распорядительства, связанное с переходом в индустриальную эру, не приводит сразу к заметному экономическому спаду только в тех странах, где высокий уровень зрелости обеспечивает на первых порах народное хозяйство кадрами квалифицированных и ответственных руководителей. Можно безнаказанно национализировать некоторые отрасли промышленности, если администраторы, поставленные управлять ими, воспитывались в традициях веденья. Можно национализировать даже всё хозяйство вплоть до мелких лавок, мастерских, аптек, если при этом оставить прежних владельцев заведующими – по привычке они будут выполнять свои обязанности с прежним старанием.

Но пройдет пятьдесят лет – и положение в корне изменится.

Порывая причинную связь "рвение – успех", служебное распорядительство неизбежно распахивает двери наступающему неведенью. Ведь всякий человек будет направлять свои силы только туда, где он может ожидать расширения своего социального или экономического "я-могу". Рентабельность же или нерентабельность порученного хозяйственного объекта, как правило, очень мало влияют на положение чиновника. Его немного похвалят за успехи, немного поругают за их отсутствие, переведут на другой объект за полный провал; так стоит ли переживать и надрываться из-за таких пустяков? Гораздо больше ему может дать подхалимаж и выслуживание по отношению к вышестоящим, подсиживание и интриги по отношению к равным, подавление всякой одарённости по отношению к подчинённым, взяточничество прямое и косвенное, злоупотребление служебным положением в угоду родственникам и приятелям, разбазаривание и присвоение казённых средств, грабеж потребителя там, где нельзя ограбить казну, – на все это распорядитель-служащий будет тратить максимум своей энергии и лишь малую часть – на самую профессиональную деятельность. В такой среде любой честный человек будет задыхаться, чувствовать себя одиноким и беспомощным, вызывающим всеобщее недовольство; любой способный и преданный пользе дела будет так колотить глаза остальным, что его, придравшись к пустячной ошибке, поспешат убрать. И того и другого неведенье заглушит так же дружно и бессознательно, как сорняки глушат

Метаполитика. Ефимов Игорь Маркович filosoff.org
культурное растение.

Неуклонно разрастаясь, бюрократическая машина рано или поздно губит хозяйство страны, которым она призвана руководить. Причём было бы весьма наивно связывать хозяйственную разруху с национальными свойствами того или иного народа. Когда к середине XVII века Испания была доведена до такого упадка, что не только её промышленность и торговля в значительной мере перешли в руки иностранцев, но даже для обработки земли владельцы вынуждены были нанимать работников за Пиренеями, один французский автор писал:

"Бедность испанцев велика, но она является следствием их исключительной лени; я думаю, что если бы многие из нас, французов, не косили бы им траву, не убирали бы их хлеб и не делали бы им кирпичи, они рисковали бы умереть с голоду и жить под открытым небом из-за нежелания строить дома" [1, т. 2, с. 249]. Однако сто лет спустя у автора уже не было бы оснований для такого хвастовства, ибо чиновничий аппарат, взращённый Бурбонами, довел "трудолюбивых" французов до такого же состояния. "Проезжая по Анжу, по Мэну, Бретани, Пуату, Лимузену, Маршу, Берри, Ниверне, Бурбоне и по Оверни, вы увидели бы, что половина этих провинций представляет пустоши, образующие громадные равнины, несмотря на то что все эти пустоши вполне пригодны для обработки. И это не бесплодие почвы, а просто упадок земледелия. Система, созданная Людовиком XIV, произвела своё действие, и вот в течение последнего века земля возвращается мало-помалу в дикое состояние" [76, с. 440].

Иными словами, в рамках служебной формы распорядительства сопротивляться наступающему неведенью труднее всего – она распахивает перед ним двери самой собой, самой структурой своей.

Корпорация меньше уязвима для этого зла. Особенно корпорация небольшая, ведущая напряжённую борьбу за свое существование, вынуждена внимательно следить за тем, чтобы руководящие посты в ней занимали наиболее способные и энергичные и чтобы они не относились к своим обязанностям спустя рукава. Когда в разоренной и опустошённой Европе VI века начали возникать монастырские общины, окрестное население добровольно стягивалось к ним, как к естественным центрам хозяйственной организации. Сейчас трудно определить, чудеса ли и исцеления, творимые святыми мощами, привлекали людей к тому или иному монастырю, или стечение народа определяло славу мощей. Думается всё же, что чем рачительнее монахи руководили сельским хозяйством, чем старательнее сохраняли семенное зерно и инвентарь, чем искуснее были в тайнах севооборота, чем справедливее распределяли помощь нуждающимся, чем беспристрастнее разбирали тяжбы трудового люда, тем больше его стекалось под их опеку.

Постепенно лучшие общины превращались в крупные хозяйства, имевшие свою обрабатывающую "промышленность" и свою торговлю с внешним миром. Корпоративное устройство с самого начала спасало монастыри от неизбежных дроблений и распылений при наследовании, от которых страдало феодальное хозяйство, пока не оградило себя законами о майорате. Повсеместное признание за монастырями самостоятельной роли в исполнении распорядительной функции отразилось в том, что почти во всех странах они были освобождены от налогов. Некоторым общинам жаловался также и судебный иммунитет. Несмотря на значительную автономию, монастыри принимали активное участие не только в хозяйстве, но и в военной жизни страны. В Европе многие из них превращались в мощные крепости; а Троице-Сергиева лавра выдержала в Смутное время годовую осаду поляков.

Однако чем больше становилось богатство и могущество монастырских корпораций, тем труднее было ведению отстаивать свои позиции. Во что превращались со временем эти хозяйства, можно понять из многочисленных описаний, часто составленных самими монахами, пытавшимися бороться с упадком нравов в своей среде.

Еще в Древнем Вавилоне гигантские храмовые корпорации конца VI века до Р. Х. были не в силах бороться с внутренней коррупцией. Глиняные таблички сохранили историю, подобную тем, какие рассказываются порой в разоблачительных статьях сегодняшних газет. Некий "Гимиллу заведовал скотом храма Эанны и много лет подряд вместе со своим братом и своими пастухами систематически крал храмовых коров и овец. Кроме того, он вымогал взятки, отпускал за деньги беглых рабов – словом, наживался как умел. Храмовое начальство знало об этом и молчало, так как само без зазрения совести воровало в храме золото, серебро, утварь, присваивало храмовые земли, дома и доходы" [6, с. 236]. В Испании "ради приобретения иммунитета духовный сан принимали те, кто не имел ни малейшего призвания к монастырской жизни... Монастырская кровля укрывала немало преступников" [1, т. 2, с. 249]. В Англии "при общей беззаботности относительно своих духовных обязанностей, при хищническом хозяйстве в своих поместьях, при бездельничестве и роскошной жизни, которыми отличалось большинство монахов, монастыри

Метаполитика. Ефимов Игорь Маркович filosoff.org
обладали всеми недостатками корпораций, переживших то дело, ради которого они были основаны" [20, т. 2, с. 127].

Для наших дней вопрос о корпорациях приобретает особую остроту. Ибо гигантское укрупнение и усложнение современного производства делают рыночный механизм регулирования недееспособным, требуют вводить ту или иную степень планирования в общегосударственных масштабах. В странах капиталистического типа роль планирующих единиц берут на себя крупные корпорации. "Они устанавливают цены и стремятся обеспечить спрос на продукцию, которую они намерены продать... Современная крупная корпорация и современный аппарат социалистического планирования являются вариантами приспособления к одной и той же необходимости" [23, с. 70, 36].

В Соединённых Штатах семьдесят лет назад корпорация была инструментом её владельцев и отражением их индивидуальности. Имена этих магнатов – Карнеги, Рок-феллер, Гарриман, Меллон, Гугенгейм, Форд – были известны всей стране... Те, кто возглавляет теперь крупные корпорации, безвестны... Они не являются собственниками сколько-нибудь существенной доли данного предприятия. Их выбирают не акционеры, а, как правило, совет директоров, который в порядке взаимности избирают они же сами". Финансовые потери в случае провала рискованных авантур могут погубить этих людей, а выигрыш достанется другим. Поэтому их целью является не погоня за сверхприбылями, но стабильность дивиденда и рост фирмы. "При этом почти все средства связи, почти всё производство и распределение электроэнергии, значительная часть предприятий транспорта и немалое число увеселительных предприятий уже находятся в руках крупных фирм... В 1962 году пятидесяти крупнейшим корпорациям принадлежало свыше одной трети всех активов обрабатывающей промышленности, пятистам – значительно больше двух третей... Выручка "Дженерал моторс" была в 1963 году в 50 раз больше доходов штата Невада, в 8 раз больше доходов штата Нью-Йорк и чуть меньше одной пятой доходов федерального правительства" [23, с. 45, 117]. Такое расширение корпоративной формы распоряительства делает оправданной тревогу некоторых американских экономистов, считающих опасным любой отход от распорядителя-собственника. Однако и оптимизм их оппонентов имеет под собой реальные основания. Их интуиция верно подсказывает им, что, покуда корпорация будет находиться в условиях неизбежного испытания конкурентной борьбой на внутреннем и внешнем рынке, критерий рентабельности будет давать выбор веденья возможность противостоять силам неведенья внутри этих огромных организаций.

Возможность, но, конечно, не гарантию.

Гарантии не даёт даже самая эффективная, самая открытая форма распоряительства – частнособственническая.

Принося самый быстрый рост богатства, она ставит выбор веденья перед особенно трудным искусом. С того момента как капитал оказывается главным мерилом ценности человека, его социального и экономического "я-могу", "конкрето" туго набитой мощны неудержимо тянется вознестись превыше любой нравственной или гражданской абстракции. Семейные связи, дружеские привязанности, моральные обязательства, сознание долга, требования религии – всё тускнеет, слабеет, рвётся, отступает перед жадной наживы. Трималхион, Шейлок, Гарпагон, Гобсек, Иудушка Головлев воцаряются в обществе и придают его нравственному облику зловещий отпечаток. Начинается стремительное перераспределение национального богатства, которое ещё больше сосредоточивается в руках нескольких крупных воротил. Число реальных распорядителей при этом резко идет на убыль, они разоряются, теряют права, превращаются в клиентов, приживалов, управляющих, служащих на жалованье. В конце концов дух стяжательства может довести распорядителя-собственника до такой политической близорукости, что он собственными руками выроет себе могилу.

Приметы подобного ослепления проступают накануне многих государственных крахов.

Спрашивается, о чём думали вавилонские капиталисты и землевладельцы эпохи Набонида и Валтасара, разоряя естественного защитника страны – крестьянина-собственника?

Карфагенские купцы не ударили палец о палец, чтобы помочь деньгами Ганнибалу, воевавшему за их интересы в Италии.

Те самые афиняне, которые во время персидского нашествия пожертвовали почти всё своё достояние на строительство флота и даже решились оставить свой город со всем имуществом на разграбление, сорок лет спустя начинают выступать по отношению к остальной Элладе не только как руководители в культуре и политике, но порой и как наглые и жестокие грабители; они перетаскивают к себе казну морского союза, разоряют без всякого повода союзные общины и в конце концов получают страшный урок Пелопоннесской войны.

Аналогично и новгородские предприниматели постепенно переходят от колонизации дикого Севера к прямому грабежу низовой Руси, высылают ватаги молодцев ушкуйников уже не на Онегу и Двину, а на Волгу и Каму, усиливают общерусское озлобление к своей исключительности и в грозный час остаются лицом к лицу с Москвой без единого союзника.

И конечно, в победе русской Октябрьской революции 1917 года немалую роль сыграли те промышленники, которые наживались на поставках армии гнилой муки, дырявых сапог, некомплектных паровозов, бракованных снарядов.

Другой соблазн, предлагаемый неведеньем распорядителю-собственнику, - закрепление распорядительной функции навечно за своим потомством, то есть образование касты, сословия.

Деньги благодаря своей текучей природе обычно ускользают от подобного закрепления. Объектом его становилась земля. Эвпатриды в Древних Афинах, спартиаты в Лаконии, испанские сеньоры, польская шляхта, французские и русские дворяне упорно держались за свои монопольные права на владение землей, справедливо усматривая в ней основу своей власти и экономической независимости. Трудно себе вообразить, каким тормозом для развития сельского хозяйства должна была оказаться в конечном итоге такая система. Деятельная и просвещенная часть привилегированного класса, занятая войной, службой, карьерой, светской жизнью, обычно не жила в своих поместьях, оставляя их на полный произвол управляющих. Жили в основном люди, подобные героям Гоголя и Салтыкова-Щедрина. Если кто из них и думал о повышении производительности труда, то видел к тому единственный способ - личное присутствие на поле с плеткой в руке. На всякого владельца, заменявшего барщина оброком или, хуже того, сажавшего на землю свободных арендаторов, смотрели как на безумца, как на подрывателя основ, старались выжить из своей среды или учредить над ним опеку. Во Франции сеньор, "пользуясь тем, что он первый построил в прежние времена пекарню, давилню для винограда, мельницу и бойню, принуждает обывателей пользоваться ими за известное вознаграждение... и разрушает все новые предприятия этого рода, которые могли бы действовать в подрыв его собственным" [76, с. 35].

Но не все же были такими?!

Не каждый заразился эпидемией стяжательства или слепотой сословного высокомерия? Ведь не была же эта болезнь неизбежным следствием частнособственнической формы распорядительства?

Нет, не была. В истории не так уж мало примеров, когда "абстрактно" нравственных требований в течение долгого времени одолевало "конкрето" всех соблазнов. Вот несколько из них.

Рим, времена республики, III век до Р. Х.

"Невдалеке от полей Катона стоял дом Манья Курия - трижды триумфатора. Катон очень часто бывал поблизости и, видя, как мало поместье и незамысловато жилище, всякий раз думал о том, что этот человек, величайший из римлян, покоритель воинственных племен, изгнавший из Италии Пирра, после трёх своих триумфов собственными руками вскапывал этот клочок земли и жил в этом простом доме. Сюда к нему явились самнитские послы и застали его сидящим у очага и варящим репу. Они давали ему много золота, но он отослал их прочь, сказав, что не нужно золота тому, кто довольствуется таким вот обедом, и что ему милее побеждать владельцев золота, чем самому им владеть. Раздумывая обо всём этом, Катон уходил, а потом обращал взор на собственный дом, поля, слуг, образ жизни и ещё усерднее трудился, решительно гоня прочь расточительность и роскошь" [60, т. 1, с. 431].

Можно сколько угодно доказывать, что пример ни о чём не говорит, что Плутарх идеализирует, что единичные бесребреники встречались в любую эпоху. Но нельзя не почувствовать прямой связи между подобным нравственным настроением распорядителя и тем, что римский патрициат нашел в себе смелость не прятаться за сословную стену, чуть было не отделившую его от остального народа; что, постепенно предоставляя плебеям политические и имущественные права, разрешая браки между патрициями и плебеями, он привлекал к распорядительной функции всё смелое, энергичное и предусмотрительное, что могла дать нация; что, прозревая все опасности, таящиеся в денежной форме хозяйства, патриции не поддались слепому страху перед ней, наподобие спартиатов, что "они не пренебрегли ни земледелием, ни торговлей, ни промышленностью, но труд, умеренность, основательный расчёт в предприятиях были постоянно их добродетелями" [80, с. 343]; наконец, что, несмотря на все бури внешней и внутренней политической жизни, улицы Рима в течение почти четырёх веков, отделяющих изгнание царей (509 год до Р. Х.) от убийства Гракхов, ни разу не были обагрены кровью братоубийственной резни.

Италия, век XIII.

Городская коммуна города Болоньи принимает решение выкупить на свободу у окрестных владельцев всех крепостных. "В результате этого акта сервы и анциллы объявлялись свободными людьми, должны были быть вписаны в книгу

Метаполитика. Ефимов Игорь Маркович filosoff.org
городских жителей, пользоваться всеми правами и исполнять все обязанности горожан... В следующем, 1257 году была издана "Райская книга Болоньи", в которой содержался перечень собственников, отпускающих на свободу своих сервов и анцилл с указанием места их жительства.

...Во Флоренции в 1289-1290 годах были изданы специальные декреты об освобождении колонов... Результатом этих постановлений была ликвидация крепостного права в дистрето Флоренции. Флорентийские постановления трактуются как прямое продолжение "Райской книги Болоньи", с тем, однако, отличием, что они имели более далеко идущие последствия (ибо крестьяне освобождались не только от личной, но и от поземельной зависимости)...

Ни в одной другой западноевропейской стране мы не знаем примеров, когда хотя бы даже отдельные крупные города заставляли отпускать на свободу большое число крепостных крестьян и сами вносили за них выкуп" [39, с. 139, 173, 319].

Но мы не знаем и ни одной другой западноевропейской страны, где появились бы в это время люди, подобные Данте, Петрарке, Боккаччо, Джотто, Пизано. Можно, конечно, говорить, что рост богатства автоматически вызывал рост культуры или, наоборот, что расцвет культуры способствовал интенсификации производства; однако подобный ход рассуждений никогда не вырвется из порочного круга. Пышный ли цветок требует мощного стебля, или благодаря мощному стеблю растение могло произвести столь пышный цветок? Нет, причину того, что Италия последующей эпохи - эпохи Возрождения - стала экономическим и культурным центром тогдашнего мира, можно искать только в нравственном настрое народа, в завоеваниях выбора веденья, проявившихся, в частности, и в исключительном акте - выкупе городскими коммунарами крепостных. Ибо когда большая группа людей сегодня, сейчас готова пожертвовать безвозмездно огромную сумму денег на дело, не сулящее зримых барышей, это ясное свидетельство того, что представления "инабстрактно" (от "абстрактно" христианской человечности до "абстрактно" будущего процветания свободного города) имеют над ней огромную власть, что уровень зрелости её необычайно высок.

И ещё в одной стране распорядитель-собственник последовательно демонстрировал способность не поддаваться ослепляющему действию власти и богатства - в Англии XVII-XIX веков. Только там поместное дворянство не стремилось отгородиться от остального народа непреодолимым барьером, посылая младших сыновей в торговые компании и на мануфактуры и, наоборот, принимало в свою среду видных деятелей торгово-промышленного мира. Только там ни землевладелец, ни муниципалитет не пытались подрабатывать на проездных пошлинах, и внутренняя торговля, свободная от всякого обложения, могла беспрепятственно развиваться. "Мне кажется, - с гордостью писал Адам Смит, - нигде в Европе, кроме Англии, нельзя найти примера того, чтобы арендатор строил здание на не принадлежащей ему земле, полагаясь на то, что чувство чести помещика не позволит ему воспользоваться таким значительным повышением стоимости его земли. Эти законы и обычаи, столь благоприятные для свободного крестьянства, вероятно, больше содействовали современному величию Англии, чем всё её хвалёное торговое законодательство" [64, с. 289]. Великий экономист, конечно, прав, рассматривая чувство чести помещика как экономический фактор огромной важности; к этому можно лишь добавить, что победы выбора веденья, проявившиеся в законах непи-саных - нравах владельцев, неизбежно должны были проявиться и в законах писанных - "хвалёном законодательстве". В том числе - и в великих реформах 1832-1833 годов, позволивших Англии первой и почти без потерь вступить в индустриальную эру, куда другие страны попадали вслед за ней, - как правило, ценой страшных и кровавых потрясений.

Возникновение распорядительной функции как таковой, обособление людей, специализирующихся только на распорядительстве, было некогда великим завоеванием выбора веденья. Распорядитель самой ролью своей призван обладать уровнем зрелости, значительно превосходящим средний. Нивелирующее растекание неведение часто наталкивалось с тех пор на эту скалу - на неизбежное наличие в оседлом обществе распоряжающихся и исполняющих. Неведенье то пыталось сделать их взаимозаменяемыми (сегодня ты распоряжаешься, а я в грязи, завтра - наоборот), то порывалось разделить непроходимой пропастью кастового деления, но никогда не смирялось с тем, чтобы отбор распорядителей производился по главному признаку - "кто способен предвидеть и предусматривать". Отбор по этому признаку всегда знаменовал собой то, что выбор веденья в сфере распорядительства перешёл в наступление.

Индустриальная эра введёт, очевидно, ещё один важный критерий - "кто обладает специальным запасом знаний, то есть образованием и опытом". Но формы организации распорядительной функции безусловно сохранятся. Так же частнособственническая будет выявлять знающих, предви-дящих и

Метаполитика. Ефимов Игорь Маркович filosoff.org
предусматривающих самым безошибочным и эффективным образом; служебная по-прежнему будет требовать громоздкого и дорогостоящего аппарата ревизоров-контролеров (которых, в свою очередь, надо будет как-то контролировать) и кончит тем, что отберёт способных слепо подчиняться и помалкивать; и так же состояние национальной экономики будет зависеть не только от организационных форм, но и от нравственной стойкости самих распорядителей. Поэтому итог рассуждений данной главы можно сформулировать так:

Высокий уровень зрелости в государстве всегда создаёт условия и тенденцию к передаче основного объема распорядительной функции в руки частного владельца; абсолютное или относительное снижение уровня зрелости неизбежно вызывает обратное движение, усиливает позиции распорядителя-служащего и может разрешиться полным его торжеством.

Если же существующий общественный порядок не поспевает своими изменениями за этими тенденциями, борьба из социальной сферы переходит в политическую; веденье и неведенье вступают в борьбу за верховную власть в государстве.

6. Веденье и неведенье в борьбе за власть

О нравах отдельных сословий и целых народов судить с достаточной уверенностью можно, лишь пожив среди них. Со стороны же удаётся улавливать лишь косвенные признаки, характерные детали, доверять чутью лучших историков, специализировавшихся на рассматриваемой эпохе.

Иное дело – власть.

На ней сосредоточено всегда основное внимание современников и летописцев; слова, деяния, личная жизнь власть имущих, их вкусы, пристрастия – всё на виду, всё под светом жадного любопытства исследователей и толпы. Поэтому и выбор, совершаемый ими между веденьем и неведеньем, виден гораздо более отчётливо, он выдает себя множеством наглядных признаков и иногда позволяет судить даже об уровне зрелости всего народа по его отношению к "поступкам властей".

Больше того, сам вид верховной власти много говорит о том, что преобладает сейчас в духовной жизни нации – веденье или неведенье.

а) Где может прочно установиться демократическая форма правления?

Только там, где абстракция закона значит для людей не меньше, чем конкретный начальник; где национальные интересы соизмеримы для каждого с интересами личными, где величие верховной власти не умаляется тем, что она находится в руках добровольно избранных вчерашних соседей по улице; где потенциально возможный произвол со стороны власти способен отравить каждому сиюминутный покой; где каждый человек способен достаточно здраво судить о внутренней и внешней политике, способен помнить ошибки и заслуги своих вождей, ценить их за достоинства, а не за предвыборное красноречие и обещания; короче говоря, только там, где выбор веденья поднял уровень зрелости народа на необычайную высоту.

Именно поэтому подлинная демократия – такое редкое и относительно быстротечное явление в мировой истории, именно поэтому установление её всегда есть трудный и долгий подвиг всего народа. Даты славных революций, к которым наше сознание тшится приурочить установление народоправства, на самом деле стоят лишь в начале, если не в середине, процесса. В Афинах после переворота Солона прошло почти сто лет тиранического правления, прежде чем выбор веденья одержал политическую победу; затем демократия просуществовала там 170 лет. В Древнем Риме изгнали царей в 509 году до Р. Х., а плебеям разрешили доступ к высшим должностям лишь в 367-м. В Англии от революции 1649-1660 годов – до отделения американских штатов – почти полтора, а до всеобщего избирательного права – почти два века. Франция после своей Великой революции боролась за республику ещё 80 лет – и как боролась! Но наряду с открытыми политическими схватками и баррикадными боями, происходившими в этих странах в переходные периоды, мы не должны забывать и ту порой неслышную, но непрерывную борьбу, которую вело знание с невежеством, вера с суевериями, серьёзность с легкомыслием, долг с беспечностью, порядочность с корыстью, выдержка с распущенностью, терпимость с ненавистью, объективность с пристрастием, вообще – сила духа со слабостью, выбор веденья с выбором неведенья. Ибо она-то и готовила почву для окончательной победы. Там же, где такой борьбе не придавалось значения, где все надежды возлагались на баррикады и бомбометателей, там демократия утвердиться не могла. Людям, жаждущим демократических свобод, обычно нестерпимо ждуть так долго, "абстрактно" исторических примеров

Метаполитика. Ефимов Игорь Маркович filosoff.org
тускнеет перед их искренним сердечным жаром. Долой тиранов! Да здравствует свобода! Сейчас, немедленно! И вот ещё в одной душе "здесь и сейчас" торжествует над "вообще, там и потом", неведенье празднует маленькую победу, отвоёвывает очередную пядь.

Любопытно отметить, что в эти длительные периоды перехода к демократии не всегда удаётся даже заметить моменты решительного перелома. Так, в Риме в первые десятилетия после свержения царей уже существовали формально всенародные выборы с участием плебеев. Однако "народ мог пускать на голоса только те имена, которые были названы председателем (сановником из патрициев, имевшим право совершать жертвоприношения и испрашивать волю богов). Если председатель называл не более двух (кандидатов на пост консула), народ по необходимости давал голоса в их пользу; называл троих - народ властен был избрать между ними. никогда собрание граждан не имело права пускать на голоса других лиц, кроме указанных председателем, потому что для них были благоприятны знамения, за ними обеспечено согласие богов" [80, с. 199]. Не произошло никакой законодательной отмены этого порядка, никакой видимой борьбы по этому конкретному поводу, но при установлении демократии "выбор консулов был уже совсем другим делом, хотя формы оставались те же самые. Был по-прежнему и религиозный обряд, было и голосование; но теперь религиозный обряд оставался только для формы, а вся сущность состояла в подаче голосов. Кандидат всё ещё должен предлагаться председателем на сходке консулом (предыдущим); но консул обязан... принимать всех кандидатов и объявлять, что знамения всем равно благоприятны. Таким образом центурии выберут кого захотят" [80, с. 370].

Так же и в Англии внешняя форма верховной власти - король и парламент - в течение долгого времени остаётся неизменной, однако упорная борьба между веденьем и неведеньем меняет сущность государственного устройства то в одну, то в другую сторону без изменения формы. Генриху VIII парламент служил послушным орудием его деспотизма, "при упоминании имени монарха все члены парламента вставали и кланялись незанятому трону" [20, т. 2, с. 156]. Во времена Елизаветы влияние парламента заметно возрастает. При первых Стюартах он становится мощной оппозиционной силой. При Карле II он "заседал почти непрерывно в течение девятнадцати лет, и тем не менее король распорядился как ему было угодно: вёл войну (с Голландией) против воли народа и отказывался воевать (с Францией), когда народ требовал войны" [20, т. 2, с. 337]. При первых Георгах парламента принадлежала вся полнота власти, но Георг III предпринял такую серьёзную попытку вернуться к абсолютизму, что она чуть не увенчалась успехом. "Законы, принятые правительством Георга III после французской революции, - пишет Бокль, - были так многосторонни и так хорошо рассчитаны для достижения своей цели, что если бы энергия самой нации не воспрепятствовала приведению их в действие, то они или уничтожили бы всякий след политической свободы в Англии, или вызвали бы всеобщее восстание. В продолжение нескольких лет опасность была так велика, что отвратить её смогла только та доблестная смелость, с которой наши английские суды присяжных своими враждебными правительству приговорами противодействовали его стремлениям и отказывались от применения законов, предложенных правительством и охотно пропущенных робким и раболепным парламентом" [9, т. 1, с. 344]. "Энергия самой нации" - вот сила, которая дала возможность Англии прийти к демократии без кровопролития и даже без изменения внешних форм правления.

Достигнув политической власти, выбор веденья спешит укрепить свои позиции во всех сферах государственной жизни. Выборность и сменяемость правительства, публичное обнародование законов, гласность судопроизводства, равенство граждан, веротерпимость, свобода слова и собраний - вот главные установления, которые можно обнаружить в любой демократии.

Однако это не значит, что борьба окончена.

Она продолжается, как и прежде, иногда незаметно, иногда сгущаясь в большие битвы. Если бы выбор веденья переселил в душах еще двадцати членов афинского Совета пятисот, жизнь Сократа в 399 году до Р. Х. была бы спасена. Если бы при обсуждении негритянского вопроса в 1784 году "абстрактно" человеколюбия возобладало над "конкретно" выгоды и перетянуло на свою сторону хотя бы ещё одну штатную делегацию, рабство в Соединённых Штатах было бы запрещено, и страна не имела бы сейчас страшного наследия расовой проблемы.

Обычно вопрос, вокруг которого при демократии разгорается борьба между веденьем и неведеньем, вполне понятен: чартисты боролись за расширение избирательного права, аболиционисты - за освобождение негров, суфражистки - за равноправие женщин. Но бывает и так, что сам повод кажется недостаточно важным, не соответствующим размаху баталии. Слова "Дрейфус", "Уотергейт" попали в историю так же случайно, как слова "Трафальгар" или "Ватерлоо". Но именно случайность повода выдает онтологическую серьёзность и размах

Метаполитика. Ефимов Игорь Маркович filosoff.org
протекающего противоборства.

Каждый день, прожитый народом в условиях демократии, есть плод миллионов невидимых нравственных усилий в сторону выбора веденья. Но подобное духовное подвижничество не может продолжаться вечно. Чем больше успехов достигает демократия в сфере производства и международного влияния, чем обширнее становится "конкрето" комфорта, богатства и мощи, тем сильнее оно слепит глаза и оглушает сердце. С другой стороны, среди избирающих веденье начинаются неизбежные раздоры, предопределённые тем, что один сосредоточивает свою заботу на завтрашнем дне, другие – на судьбе грядущих поколений, третьи – на вечности. Культ свободы доводится до такого идолопоклонства, что начинают даже почитать свободу избирать неведенье. Культ творческой инициативы доходит до того, что начинают поощрять инициативу покушений на свободу. Строгость объявляется деспотизмом, следование законам – бесчеловечностью, взимание налогов – эксплуатацией, наказание преступников – жестокостью, поощрение способностей – нарушением равенства, разнузданность – проявлением свободолюбия. Всякая граница-запрет, всякий писанный или неписанный закон подвергаются нападкам, теряют свою прочность, а вместе с ними теряет её и государственный порядок. Перед угрозой этого разброда, идейных шатаний и надвигающегося хаоса дальновидное меньшинство, не видя больше в народе духовной устойчивости, склоняется к необходимости отнять власть у большинства и взять её в свои руки.

б) На политическом горизонте возникает олигархия

Демократическое правительство не может по уровню зрелости сильно отличаться от остальной массы полноправных граждан. Избираемые могут выделяться умом, знаниями, красноречием, репутацией, но не выбором веденья. Иначе сограждане просто не поняли бы их целей, их аргументации и избрали бы других, чьи речи и действия были бы им понятны, чей взор проникал бы в будущее не намного дальше, чем их собственный.

Напротив, олигархи должны превосходить средний уровень.

Так, по крайней мере, в теории. Особенная политическая прозорливость, самообладание, неподкупность, готовность жертвовать личными интересами ради интересов страны – только такие качества меньшинства могут служить моральным оправданием узурпации им власти.

Классическим примером в этом отношении является римский сенат первых веков республики.

Само свержение царей в 509 году до Р. Х. "не было делом низших классов, заинтересованных разрушением древних установлений, но делом аристократии, желавшей их поддержать... Цари часто покушались поднять низшие сословия и ослабить роды, и за это именно цари были низложены. Аристократия произвела политический переворот только для того, чтобы помешать перевороту социальному. Она захватила в руки власть не столько из-за удовольствия господствовать, сколько для того, чтобы отстоять против нападков свои древние учреждения, свой домашний культ, свою отеческую власть, родовое устройство и частное право, установленное первобытной религией" [80, с. 287]. Но правление сената не было сословно эгоистическим. Именно сенат непрерывным вниманием и энергией обеспечивал ту дальновидность и последовательность внешней политики, которая защищала Рим от многочисленных врагов, а впоследствии принесла ему мировое господство. Его верность древним установлениям придавала необычную стабильность римскому "мы". Он сохранил эту роль и после установления демократии. Он не был так мелочно ревнив к своим привилегиям, не был заносчив даже с побеждёнными, умел делиться с ними властью, и поэтому на него с надеждой взирала аристократическая партия во всех соседних общинах. "В бытность в Италии армии Ганнибала взволновались там все (подвластные Риму) города; но дело шло тут вовсе не о независимости; в любом городе аристократия была за Рим, плебс – за карфагенян" [80, с. 428, 429]. Победили, как известно, те, кто был за Рим.

Своеобразные примеры олигархического управления дают нам средневековые итальянские республики.

В Венеции олигархический переворот произошел в 1297 году. Народ был отстранён от участия в выборе дождей. Большой совет из выборного учреждения сделался наследственным, несколько лет спустя организована тайная политическая полиция – Совет десяти. Однако дальнейшая история Венецианской республики ясно показывает нам, что по своим качествам правящая группа оставалась, во всяком случае до начала XVII века, на высоте своих задач. Страна процветала и богатела, её товары славились во всем мире, территория расширялась, а военная мощь была такова, что в 1508–1510 годах венецианцы в одиночку выстояли против Камбрийской лиги, в которой соединились с целью их

Метаполитика. Ефимов Игорь Маркович filosoff.org
уничтожения папа, германский император, французский и испанский короли, Мантуя, Феррара, Савойя; в дальнейшем республика Святого Марка успешно противостояла на Средиземном море турецкому гиганту.

Современники с большим почтением отзываются и об её внутреннем устройстве.

Они говорят, что в Венеции "знать правит без шума, соблюдая известное равенство. Различие плебеев и патрициев вызывает меньший антагонизм, чем в других странах, так как законы сделали все необходимое, чтобы утратить дворян и привлечь их к ответственности" [38, с. 8]. Судопроизводство устроено таким образом, что особые комиссии центрального суда регулярно объезжают провинции, причём неимущим обеспечена даровая адвокатура. Но для нас самым примечательным должно остаться то, что Венеция была единственной страной, где инквизиторы не могли хозяйничать произвольно. Им было отказано в имуществе осуждённых (что сильно снизило их пыл), смертные приговоры могли выноситься только с участием светского должностного лица, власти постоянно вмешивались в их деятельность, ограничивая её только узкими рамками борьбы с открытыми проявлениями ереси. В начале XVI века, когда начались массовые сжигания ведьм, венецианский сенат, несмотря на гнев и страшные угрозы папы, постановил в 1521 году запретить пытку при допросе подозреваемых, остановить процессы, отменить уже вынесенные приговоры, выпустить сотни заключенных – случай беспрецедентный в истории католического государства.

Главная соперница Венеции на Средиземном море – Генуя – тоже имела олигархическую форму правления, однако не столь откровенную. Там "дело дошло до того, – сообщает Макиавелли, – что из-за потребностей республики и услуг банка Святого Георгия большая часть земли и города, состоящая под управлением Генуи, перешла в ведение банка: он хозяйничает в них, защищает их и каждый год посылает туда своих открыто избранных представителей, в деятельность которых государство не вмешивается... Оттого в Генуе так легко и происходят всевозможные перевороты, подчиняющие генуэзцев то власти одного из сограждан, то даже чужеземца, ибо в государстве правление всё время меняется, а в банке Святого Георгия все прочно и спокойно... На одной и той же территории, среди одного и того же населения одновременно существуют и свобода, и тирания; и уважение к законам, и растление умов; и справедливость, и произвол... И если случится, что под власть банка Святого Георгия попадёт вся Генуя, то эта республика окажется ещё более примечательной, чем Венецианская".

Флорентийская синьория переродилась в олигархию в тот момент (1323 год), когда "синьоры и их коллеги, чувствуя себя достаточно сильными, изменили порядок свободных выборов, присвоив себе право заранее наметать новых членов на следующие сорок месяцев (то есть комплектовать двадцать составов правительства вперед – по два месяца каждому). Записки с именами заранее отобранных членов синьории складывались в сумку и каждые два месяца извлекались оттуда (по жребию)" [50, с. 330, 78]. Здесь примечательна краткость срока нахождения у кормила государства – два месяца. Действительно, за такое время никакой группе людей практически невозможно было злоупотребить властью в свою пользу. Но, застраховав себя от злоупотреблений, флорентийцы одновременно лишили свое правительство возможности также и совершить что-либо решительное в сфере внешней политики; кроме того, и уважение к таким краткосрочным сановникам должно было быть невелико. Действительно, членов синьории нередко осаждали в их дворце, прогоняли, а порой и убивали. При таком странном устройстве олигархии приходится удивляться не тому, что она в конце концов была вытеснена тиранией Медичи, а тому, что она существовала так долго. И если за это время Флоренция явила миру такой блеск богатства и культуры, возвела такие соборы, взрастила таких писателей, художников и ученых, если она была притягательным центром для тысяч людей, а изгнание из неё переживалось гражданами как ужасное несчастье, то во всём этом должна быть заслуга и её правителей – этих безвестных синьоров, сменявших друг друга так быстро, что их недостаток не успевали сказать на жизни республики, а достоинства не давали свободе перейти в полную анархию. И всё же обеспечить внутреннюю стабильность общества, оградить его от мятежей и кровавых раздоров эта власть не смогла и после жестокой борьбы вынуждена была уступить единовластию.

Изменение формы правления – отнюдь не обязательное условие перерождения сути и характера олигархической власти. Правительственные учреждения могут остаться теми же, но изменятся люди, в них заправляющие, и через несколько лет страну будет не узнать. Причём политическое торжество неведенья при сохранении олигархии легко узнается по одному-единственному признаку: наружу перестают поступать какие бы то ни было сведения о внутренней жизни "мы". Взимание налогов, устройство суда, сами законы, распределение

Метаполитика. Ефимов Игорь Маркович filosoff.org
собственности, реальные права жителей, организация и поступки местной власти, технология производства, нравы обывателей, методы пополнения правящей группировки, цены на продукты – всё вдруг оказывается покрыто панцирем жутковатой секретности, всякая мелочь поднимается до уровня государственной тайны. Ни один голос не может прорваться сквозь глухую стену цензуры и страха и донести до нас какое-нибудь объективное свидетельство. Иностранцам обычно чинятся всякие препятствия для въезда, а тем, кого пустят, покажут только то, что можно, и говорить дадут только с тем, кто "не подведёт".

Новые исторические произведения не пишутся, старые уничтожаются или переделываются на новый лад. Даже из художественных произведений почерпнуть ничего не удается, ибо все искусства чахнут в этой атмосфере и исчезают.

До какой степени совершенства можно довести эту систему полной секретности, видно хотя бы на примере всё той же Спарты. Афинские писатели часто демонстрируют нам огромную осведомленность о делах давно минувших или странах весьма далёких, но о том, что творится в соседней стране, они не знают почти ничего. Даже "о составе (высшего спартанского) сословия нет у нас никаких точных известий. Кажется, оно пополнялось выбором; но право выбора принадлежало самому сословию, а не народу. Поступить в него слыло на официальном языке Спарты "получить награду за доблесть". Мы не знаем, сколько нужно было достатка, высокородства, заслуг и лет для составления этой доблести... История внутренних распри в Спарте нам тоже мало известна; и это оттого, что правление ее и по правилу, и по привычке окружало себя глубочайшей тайной. Большая часть волновавших ее усобиц была скрыта и предана забвению" [6, с. 115]. Невольно возникает мысль, что и знаменитый "лаконизм" спартанцев только на одну половину происходит из благородной сдержанности, а на другую – из страха сболтнуть лишнее.

Олигархическая эпоха в Афинах – не менее тёмное пятно. "Эвпатриды по низложению царской власти правили там четыре века (до Солона). Об этом владычестве история молчит; о нём известно только то, что оно было ненавистно низшим классам и что народ усиливался выйти из такого положения" [80, с. 398, 395, 320]. Очень мало сведений оставил по себе и олигархический Карфаген, и это никак нельзя объяснить низким уровнем культуры. Та же самая Венеция с начала XVII века словно бы исчезает с мировой арены и с глаз историков, прячется, как улитка, в раковину политической безгласности. С этого момента она символизируется для нас не столько гондолами, карнавалом, площадью Святого Марка и Дворцом дождей, сколько "мостом вздохов" и тюрьмой со свинцовой крышей, раскаляемой солнцем. Если раньше Совет десяти "нередко вызывал к себе такую ненависть, что трудно было найти лиц, готовых принять на себя эту должность" [38, с. 14], то теперь он превращается в некий эпицентр, от которого волны страха расходятся по всему государству. "Самые аресты, производимые по распоряжению Совета десяти, происходят обыкновенно ночью, чтобы избежать шума. Задержанный с этого момента исчезает из глаз толпы... Приговоры трибунала приводятся в исполнение без огласки, с соблюдением глубокой тайны... Одно подозрение в государственном преступлении может иметь в Венеции более тяжкие последствия, чем заведомые злодеяния в других странах... Страх перед Советом заставляет венецианское дворянство строго соблюдать запрет всяких сношений с иноземными послами" [38, с. 28, 29].

Олигархия, заражённая неведеньем, начинает быстро стариться нравственно и физически. На закате она представляет из себя уже не сплоченный союз энергичных и прозорливых деятелей, озабоченных судьбой государства, но сборище чёрствых стариков, думающих лишь о том, чтобы дожить свои дни без тревог и волнений, крепко держащихся за свои почести, привилегии, престиж. Они будут сопротивляться любым политическим переменам с таким слепым упорством, что могут привести государство на грань катастрофы или даже погубить его (Карфаген во II веке до Р. Х., Польша в веке XVIII). Если же перемены всё-таки произойдут, по характеру новой власти мы безошибочно сможем определить, кто оказался победителем на этот раз – веденье или его вечный противник.

в) Переход к единовластию

Абсолютная самодержавная власть одного человека вызывает во всякой душе, избравшей неведенье, такое искреннее восхищение и трепет, какого никогда не может вызвать группа правителей, делящих власть между собой. "Дай нам царя, чтобы он судил нас!" Но ведь "он возьмёт сыновей ваших и приставит к колесницам своим... и дочерей возьмёт, чтобы они варили кушанье и пекли хлебы... и виноградные и масличные сады ваши лучшие возьмёт и отдаст слугам своим... и от мелкого скота вашего возьмёт десятую часть; и сами вы будете

Метаполитика. Ефимов Игорь Маркович filosoff.org
ему рабами". Всё равно "пусть будет царь над нами, и мы будем как прочие народы: будет судить нас царь наш, и ходить перед нами, и вести войны наши" [I-царств, 8:11-20].

Желание иметь главу, судью, вождя иногда захватывает народ с такой неудержимой силой, что никакие предостережения на него уже не действуют. Предостерегают же, как правило, избравшие веденье, но ведь в большинстве своём они так или иначе причастны распорядительству, они наверху социальной лестницы и не знают мучений повседневно обнаруживаемого неравенства; им не понять, как сглаживаются эти мучения мыслью, что есть кто-то превыше всех – один, всемогущий, всезнающий, всевидящий, недостижимый. Никакие пороки и преступления властителя не могут уронить его в глазах неведающих подданных. Наоборот! Самые чудовищные злодеяния как бы наглядно демонстрируют дух захватывающую безграничность его "я-могу" и еще пуще раздувают народное обожание. Даже те, кто становится жертвой произвола, порой не могут совладать с верноподданническим поклонением. Известно, что в тюрьмах НКВД некоторые писали восторженные стихи "вождю и учителю", кричали перед расстрелом: "да здравствует Сталин!" Больше того: даже те, кто вступает в открытую борьбу с тираном, не желают открыто в этом признаться. Английский парламент в 1640 году нападал только на министров короля, восставшие гёзы в Нидерландах взяли себе девизом: "Верны королю до нищенской сумы". (То есть тому самому Филиппу II, который грабил их, жёг, рубил им головы и в конце наслал на них кровавого Альбу.)

При том, что слепое народное чувство всегда служит единовластия надёжным фундаментом, остаётся ещё проблема "стен", или, скорее, "колонн" государственного здания – административно-управленческого аппарата. Кого назначат на посты судей, министров, губернаторов, воевод, префектов, послов, прокуроров, генералов и офицеров – вопрос немаловажный. От него зависит порой судьба каждой провинции, каждого местечка, всей нации в целом. Эта-то проблема и остаётся тем зауженным, ограниченным полем сражения, на котором веденье и неведенье продолжают свою вечную борьбу в политической сфере и при единовластии. Но так как все назначения на высшие посты в государстве делаются монархом, его личные качества и пристрастия становятся политическим фактором огромной важности.

Переход к единовластия – всегда победа неведенья. Однако с тех пор как единовластия установилось достаточно прочно, очень многое начинает зависеть от личности владыки. Ведь всякий из них остается человеком, в душе которого протекает борьба между веденьем и неведеньем, и, как знать, быть может, даже "конкрето" безграничной власти окажется не в силах полностью затмить ум и сердце. Во всяком случае, история даёт нам немало примеров монархов, выдающихся как по личным достоинствам, так и по целеустремленности своей политики. Появление такого монарха на престоле способно было за один год переменить атмосферу жизни в стране. После Домициана мог появиться Траян, после Марии Кровавой – Елизавета Английская, после Павла I – Александр I. Сознательная часть общества имела все основания приветствовать и поддерживать этих государей, ибо видела в них избавителей от кровавого кошмара прошедших лет, а они, в свою очередь, находили в ней надёжную опору своей власти.

Гораздо хуже дело обстоит там, где неведенье торжествовало не только в личности монарха, но захватывало всю правительственную машину целиком. Перемены на троне, замены "плохого" царя "хорошим" – на это ещё можно было надеяться, но внести какие-нибудь изменения в нравы и привычки чиновничьей касты могло только время. И не просто спокойное течение его, но время, заполненное противоборством различных выборов в среде административного класса. Иными словами, уровень зрелости министров и их помощников был не менее важен, чем уровень зрелости государя. Самыми драматичными оказывались те царствования, при которых эти уровни являли собой резкое и явное несовпадение.

Возьмём для примера двух монархов: Людовика XIV и Петра I.

На первый взгляд направление их политики и используемые приёмы кажутся вполне идентичными.

Оба они видели главную цель в укреплении абсолютизма своей власти.

Оба в этом стремлении не остановились даже перед тем, чтобы поставить самих себя во главе церкви.

Оба были постоянными агрессорами и ввязывались в войны почти со всеми соседями.

Оба были готовы щедро платить за все начинания кровью и потом своих народов.

Оба были бессмысленно жестоки в преследовании еретиков: один посылал на галеры гугенотов, другой доводил до самосожжения раскольников.

Оба питали неприязнь к старой знати и пытались покончить с её влиянием одним и тем же оружием – табелью о рангах, открывавшей двери

Метаполитика. Ефимов Игорь Маркович filosoff.org
государственной службы людям неродовитым.

И может быть, именно в этом последнем пункте – в принципе подбора людей – и проявилась наиболее наглядно огромная разница между двумя монархами. Понять это можно, только сравнив, что каждый из них получил при вступлении на престол и что оставил преемникам.

Людовик XIV вззошел в 1661 году на престол самого могущественного в тогдашнем мире королевства. Государственная машина была создана Генрихом IV и Ришелье и при Мазарини выдержала испытания междоусобиц фронды. "Эпоха была богата всевозможными выдающимися людьми. Министры и дипломаты молодого короля были в ту пору наиболее искусными в Европе, его полководцы – наиболее выдающимися, подчинённые им офицеры, пройдя школу своих начальников, сами ставшие славными полководцами, – наилучшими... Государство находилось в цветущем состоянии, всего было в избытке. Кольбер довел финансы, морское дело, торговлю, промышленность, даже литературу и просвещение до высшего расцвета..." [63, т. 2, с. 60, 93].

"Но Людовика XIV утомило превосходство ума и достоинств его прежних фаворитов. Он хотел первенствовать умом и волею в делах правления и на войне, как властвовал во всех других областях... Он взял под подозрение, а вскоре даже возненавидел всякое проявление благородства чувств, уверенности в себе, самоуважения, личного достоинства, образованности. С возрастом это отвращение увеличивалось. Он хотел царствовать самостоятельно. Вот почему нередко совершенно неопытные новички занимали посты министров и полководцев. Людовик был чрезвычайно доволен подобным порядком, и часто у него вырывалось признание, что он выбирает таких, дабы их воспитывать, и он действительно верил, будто это делает... Мало-помалу под давлением необходимости все обязанности свелись к одному: трепетать и стараться подслужиться... Так сложилась эта безграничная власть, которая могла делать всё, что захочет, и слишком часто хотела всё, что могла, не наталкиваясь никогда на сопротивление (внутри страны)... В результате пятидесяти шести лет царствования... было пролито столько крови... зажжены пожары по всей Европе, спутаны и уничтожены все порядки... королевство доведено до непоправимых бедствий, почти до грани полной гибели, от которой страна была избавлена лишь чудом Всемогущего" [63, т. 2, с. 188].

Пётр I при своем вступлении на престол получил совсем другое государство и другой состав правительственного класса. Русское боярство или то, что от него осталось после топора Ивана Грозного и застенков Бориса Годунова, в XVII веке представляло собой касту, заражённую неведеньем в предельно возможной степени.

Местничество – вот название язвы, поедавшей все здоровые силы, оставшиеся ещё в знатных семьях.

Распределение командных постов в армии, назначение на воеводства, управление приказами, влияние в боярской думе – всё зависело не от личных способностей и энергии человека, но от места, которое его далекий предок занимал в списках древнейшего боярства или за царским столом несколько веков назад. "Как стояли предки, так вечно должны стоять и потомки, и ни государева милость, ни государственные заслуги, ни даже личные таланты не должны изменять этой роковой наследственной расстановки... Служебная карьера лица не была его личным делом, его частным интересом. За его служебным движением следил весь род, потому что каждый его служебный выигрыш, каждая местническая находка повышала всех его родичей, как всякая служебная потеря понижала их" [36, т. 2, с. 154]. Когда один молодой боярский отпрыск не чинясь встал под начало приятеля из другого рода, всё его семейство кинулось в ноги царю, прося наказать за страшную обиду, которую он нанёс им всем своим небрежением.

"Местничество не признавало подвигов... князь Пожарский, спаситель отечества, "отослан был головой" к ничтожному, но родовитому сопернику (Салтыкову), подвергся унижительному обряду, был проведён с торжественным позором пешком под руки под конвоем от царского дворца до крыльца соперника... Государственная власть искала способных и послушных слуг, а местничество поставляло ей породистых и зачастую bestолковых неслухов... Сплачивая родичей в ответственные фамильные корпорации, оно разрознивало сами фамилии, мелочным сутяжничеством за места вносило в их среду соперничество, зависть и неприязнь, чувство узко понимаемой родовой чести притупляло чутье общественного, даже сословного интереса и таким образом разрушало сосло-вие нравственно и политически... В 1681 году, когда возбуждён был вопрос об отмене местничества... боярство втихомолку сделало ещё одну попытку спасти свое положение. Составлен был план раздела государства на крупные исторические области, бывшие некогда самосто-ятельными. В эти области из наличных представителей московской знати назначались вечные несменяемые пожизненные наместники... Патриарх, на благословение которого был препровождён проект (царём Фёдором), разрушил

Метаполитика. Ефимов Игорь Маркович filosoff.org
его, указав на опасности, какими он угрожает государству" [36, т. 3, с. 73; т. 2, с. 156].

И с этими людьми Петру I нужно было прорубать "окно в Европу". Переломить их взгляды, пополнить их ряды новыми деятелями – во всей работе Петра не было задачи более трудной и ключевой. В его эпоху "дворянство по отечеству пополняется из всех слоёв общества, даже из иноземцев, людьми разных чинов, не только "белых" нетяглых, но и "чёрных" тяглых, даже холопами, поднимавшимися выслугой: табель о рангах 1722 года широко раскрывает этим разночинцам служебные двери в лучшее старшее дворянство" [36, т. 3, с. 9].

Людовику XIV табель о рангах нужна была для того, чтобы принижать аристократию и поднимать по служебной лестнице милых его сердцу ничтожеств; Петру – для того, чтобы влить в одряхлевший государственный организм свежую кровь, чтобы ставить к делу слуг способных, преданных, целеустремленных. Первый, приняв сторону неведенья, резко замедлил движение страны, второй при том же деспотизме и самовластии искал опору в выборе веденья и тем ускорил развитие своей империи. После этих государей подстегнутая Россия и приторможенная Франция если не оказались на одном уровне, то, во всяком случае, приблизились друг к другу настолько, что между ними сделались возможны реальные контакты, обмен людьми и идеями вплоть до знаменитой переписки русской императрицы с французскими мыслителями.

К сожалению, все завоевания выбора веденья в среде русского правящего класса ограничились сферой столичного дворянства. Этого было достаточно для того, чтобы поддержать жизнеспособность гигантской империи, чтобы обеспечить кадры высших чиновников, офицеров и дипломатов, чтобы создать блестящую культуру XIX века, но недостаточно для внесения заметных перемен в устоявшийся уклад крепостнической жизни. Причём даже и столицы в критические моменты оказывались слишком падки на блага неведенья. В "дней Александровых прекрасное начало" все, казалось, были согласны с необходимостью реформы. Но ставить получение должности в зависимость от собственных знаний? сдавать экзамен на чин? Это представлялось неслыханным унижением. Уже в самой форме опалы, обрушившейся на инициатора реформ – Сперанского, – ночью тайком арестовать и увезти в Сибирь без объявления причин – легко узнать почерк восторжествовавшего неведенья. Полвека спустя оно же, слившись в дружный хор протестующих голосов, изуродовало и оборвало первоначальные проекты реформы 1861 года. Поистине у Пушкина было достаточно оснований, чтобы написать в письме к Чаадаеву в 1836 году: "Наша общественная жизнь – грустная вещь. Это отсутствие общественного мнения, это равнодушие ко всякому долгу, справедливости и истине, это циничное презрение к человеческой мысли и достоинству – поистине могут привести в отчаяние... Правительство всё-таки единственный европеец в России. И сколь бы грубо оно ни было, только от него зависело бы стать во сто крат хуже. Никто не обратил бы на это ни малейшего внимания".

С другой стороны, надежды, возлагавшиеся Пушкиным на аристократию, отнюдь не были наивными. Его политическая интуиция опиралась на те исторические примеры, в которых знать выступала упорным хранителем государственной мудрости, высокого уровня зрелости. В Риме после проскрипций Суллы и Марии, после гражданских войн, после казни Нерона и Домициана всадническое сословие всё ещё могло поставить Траяну и императорам из династии Антонинов достаточное количество помощников для создания "золотого века империи". В Англии попытки королей вернуть себе бесконтрольную власть, которой обладал Генрих VIII, неоднократно разбивались о твердую волю тех самых судей, в которых они надеялись найти послушное орудие. "Судебная, политическая, экономическая и административная власть мировых судей была так разнообразна и в совокупности так значительна, что они сделались самыми влиятельными в Англии людьми... Они были слугами королевы, но она их не оплачивала и они от неё не зависели. Они были сельскими джентльменами, живущими в своих собственных поместьях на свои собственные доходы. В конечном счёте, они больше всего ценили доброе мнение своих соседей, джентри и населения графства. Поэтому в тех случаях, когда сельское дворянство было в сильной оппозиции к государственной и религиозной политике короля, королевская власть уже не имела другого аппарата управления в сельских местностях" [75, с. 194]. Английская аристократия охраняла государственную жизнь не только от неведенья монарха, но в значительной мере и от неведенья народного. "Во многих деревенских местностях население продолжало бы топить и сжигать ведьм вплоть до XIX столетия, если бы только джентри не сдерживали его. Уже в 1736 году, к большому негодованию значительной части народных масс, парламент отклонил теперь уже устаревший закон, по которому ведьмы приговаривались к смерти. Однако фактически в Англии не был казнён ни один еретик после сожжения унитарийцев ещё при жизни Шекспира" [75, с. 278, 276].

г) Апофеоз политического неведения

Мы видим, что единовластие, хотя и опирается всегда на силы неведения всего народа, может оказаться довольно терпимой, а иногда и единственно возможной формой политической организации общества – в том случае, если правитель, или вельможи, или и тот и другие обладают необходимыми для этого качествами. Но если владыка и правящая верхушка погружаются вслед за народом в туман неведения, страна оказывается на грани кровавого кошмара, от которого уже нет ни спасения, ни защиты.

С этого момента власть делается полностью неспособной укреплять свой авторитет исполнением своих главных задач: обеспечением внутреннего мира и внешней безопасности.

У неё остается единственная возможность доказывать всему миру и себе самой, что она властвует всерьёз, – повседневно демонстрировать полный и абсолютный произвол в своих действиях где только возможно. С роковой неизбежностью катится она по этому наклонному пути и, если ее вовремя не уничтожит историческая случайность, докатывается до самого страшного: до планомерного, бессмысленного, зверского истребления какой-то части собственного народа.

Бессмысленность этих гигантских исторических трагедий порой достигает таких размеров, что делает их какими-то расплывчатыми в наших глазах, ускользающими от света логического исследования. Когда мы видим, что вся мощь государственной машины вдруг без всякого повода сознательно оборачивается на уничтожение миллионов лояльных подданных и они послушно идут на заклание, мы первым делом спрашиваем себя: как это могло случиться? зачем это делалось? И так как необъяснимость – самое трудное для строго логического ума, мы спешим либо удовольствоваться каким-нибудь из существующих объяснений, либо отодвинуть событие на задворки сознания, как будто его и вовсе не было.

Но оно было. Каждое из них случилось в своё время и на своем месте, и мы не должны, не имеем права забывать о них, ибо ничем не гарантированы от повторений.

Была Россия, год 1564-й.

Был царь Иван Васильевич, во мраке души которого назревало нечто такое, что ужаснуло даже его самого и заставило без всякой внешней причины отречься от престола. Были народные слёзы и челобитья, было боярство, умолявшее царя снова взять власть в свои руки и принявшее его условия, "чтобы ему на изменников своих и ослушников опалы класть, а иных и казнить, имущество их брать в казну, чтобы духовенство, бояре и приказные люди всё это положили по его государевой воле, ему в том не мешали" [36, т. 2, с. 175].

Учреждённая опричнина не боролась с крамолой, потому что никакой крамолы не было и в помине, не заменяла бояр у кормила верховной власти, потому что не умела управлять, не брала на себя функции контроля и преследования злоупотреблений, ибо сама была чудовищным злоупотреблением. С самого начала до конца роль опричников сводилась только к одному – к палачеству. В списках загубленных, которые набожный царь рассылал по монастырям для успокояющих молитв, "боярских имён сравнительно немного, зато сюда заносились перебитые массами и совсем неповинные в боярской "измене" дворовые люди, подьячие, псары, монахи и монахини" [36, т. 2, с. 185]. Но было бы наивно полагать, что в этих списках перечислены все жертвы. Сколько их было на самом деле? Что могли натворить за семь лет в гигантской стране шесть тысяч вооруженных головорезов, получивших полную свободу безнаказанно грабить и убивать всех от мала до велика? Этого не в силах воссоздать никакое воображение.

Если опричнину учебники еще поминуют, то о военных походах царя против собственных городов знают только специалисты-историки.

"2 января 1570 года явился в Новгород передовой отряд царской дружины, которому велено было устроить крепкие заставы вокруг всего города, чтобы ни один человек не убежал; бояре и дети боярские из того же передового полка бросились на подгородные монастыри... игумнов и монахов, числом более 500, взяли в Новгород и поставили на правёж до государева приезда; их держали в оковах и каждый день с утра до вечера били на правёже, правили по 20 рублей; гостей приказных и торговых людей перехватывали и отдавали приставам, дома, имущества их были опечатаны, жён и детей держали под стражей... 6 числа приехал сам царь, и на другой день вышло первое повеление: игумнов и монахов, которые стояли на правёже, бить палками до смерти и трупы развозить по монастырям для погребения... (затем) на Городище начался суд: к Иоанну приводили новгородцев, содержащих-шихся под стражей, и пытали, жгли

Метаполитика. Ефимов Игорь Маркович filosoff.org
их какой-то "составною мудростию огненной", которую летописец называет "поджаром"; обвинённых привязывали к саням, волокли к Волховскому мосту и оттуда бросали в реку; жён и детей их бросали туда же с высокого моста, связавши им руки и ноги, младенцев – привязавши к матерям; чтоб никто не мог спастись, дети боярские и стрельцы ездили на маленьких лодках по Волхову с рогатинами, копьями, баграми и топорами и, кто всплывает наверх, того прихватывали баграми, кололи копьями и рогатинами и погружали в глубину: так делалось каждый день в продолжение пяти недель; в то же время вооружённые толпы отправлены были во все четыре стороны, в пятины, верст за 200 и за 250, с приказанием везде пустошить и грабить. Весь этот разгром продолжался шесть недель... Из Новгорода Иоанн отправился ко Пскову..." [66, т. 6, с. 559].

Была Испания, год 1609-й.

К этому времени численность морисков (потомков мусульман, принявших крещение) достигла, по оценке разных авторов, цифры в один-два миллиона человек. Их существование было стиснуто множеством строжайших запретов. Им запрещалось говорить на арабском языке, надевать национальное платье, носить оружие. Женщины должны были ходить без покрывал. Были уничтожены арабские книги. "Так как омовение считалось одним из нехристианских обрядов, то приказано было уничтожать все общественные бани и даже ванны в частных домах" [9, т. 2, с. 35].

Тем не менее общины морисков процветали и повсеместно вызывали к себе завистливую ненависть. Их обвиняли в том, "что никто из них не идёт в священники или монахи, а все они женятся и потому непомерно размножаются; что из-за их воздержанности все налоги на мясо, вино, и прочее уплачивают только христиане; что, несмотря на то что они проживали в небольших селениях, на землях каменистых и неплодородных, отдавали своим сеньорам одну треть урожая и были обременены многими налогами, они были гораздо богаче христиан, которые, обрабатывая более плодородные земли, жили в большой нищете" [1, т. 2, с. 147, 256]. Даже те, кто преследовал морисков, признавали, что "они и их поступки отличались высокой моральностью, договоры и обязательства исполнялись ими с большой честностью, в отношении к бедным они были очень сердечны... Лучшая из известных тогда систем хозяйства применялась морисками, которые обрабатывали и орошали почву с неутомимым старанием. Разведение риса, хлопка и сахарного тростника, производство шёлка и бумаги находились почти исключительно в их руках" [1, т. 2, с. 39].

И этих-то морисков королевский указ от 22 сентября 1609 года обрекал на поголовное изгнание. Им разрешено было взять столько имущества, сколько они смогут унести с собой (остальное переходило в собственность сеньора), и дано три дня на то, чтобы явиться в ближайшие порты для посадки на правительственные суда. "Около миллиона самых трудолюбивых жителей Испании были травимы, как дикие звери, потому только, что искренность их христианства казалась сомнительной. Многие были убиты, когда приблизились к берегу; других били и грабили, а большинство в самом бедственном положении отправилось в Африку. Во время переезда экипажи судов набрасывались на них, убивали мужчин, насиловали женщин и бросали в море детей. Те, кто избёг гибели в пути, высадились на варварский берег, где на них напали бедуйны и многие перебили. Другие пробрались в пустыню и погибли с голода..."

Впервые не было видно ни одного еретика на всём пространстве от Гибралтара до Пиренеев... Все жители слушались церкви и боялись короля. Полагали, что следствием этой счастливой идеи будет благосостояние и величие Испании, что имя Филиппа III сделается бессмертно и что потомство будет дивиться этому геройскому подвигу" [9, т. 2, с. 39, 38].

Была Франция, год 1685-й.

"Отмена Людовиком XIV Нантского эдикта (предоставлявшего гугенотам право открыто исповедовать свою религию) без малейшего предлога, без всякой надобности и последовавшие за тем различные меры, кои можно скорее назвать проскрипциями, чем постановлениями... лишили королевство четвёртой части народонаселения, разорили торговлю и ослабили государство во всех частях, надолго отдали население на открытое и официально разрешённое разграбление вооружённым отрядам драгун; дозволили истязания и пытки, от которых умерли тысячи людей обоего пола, повергли в нищету многочисленный народ, подняв брата на брата; растерзали целый мир семейств, отбиравших друг у друга имущество и обрекавших обобранных на голодную смерть."

В результате этого события наша промышленность перешла в руки иностранцев, отчего их государства расцвели, разбогатели за наш счёт и покрылись новыми городами. Глазам всех предстало ужасное зрелище целого народа изгнанников и беглецов, выброшенных на улицу, хотя и не совершивших никакого преступления, нагих, странствующих в поисках пристанища вдали от родины. Знатные, богатые, старцы, лица, часто высокочтимые за благочестие,

Метаполитика. Ефимов Игорь Маркович filosoff.org
знания и добродетели, люди обеспеченные, слабые, не привыкшие к лишениям, были осуждены грести на галерах и страдать от бича надзирателя исключительно за религию. Наконец, в довершение всех ужасов этот акт наполнил провинции королевства клятвopреступлениями и кощунством; всюду раздавались вопли злополучных жертв заблуждения, в то время как другие поступались совестью ради сохранения имущества и безопасности... Такова была всеобщая мерзость, порождённая жестокостью. Между пыткой и отречением, а потом причастием часто проходило не более суток, и те же палачи являлись при этом и руководителями и свидетелями...

Вся Франция наполнилась ужасом и смятением, и в то же время никогда не было такого торжества и ликования, никогда таких изобильных восхвалений" [63, т. 2, с. 148-150].

Сколько коварной, какой обоюдоострой может быть сила искусства!

Благодаря ей Иван Грозный утвердился в сознании многих людей таким, каким его изобразили Эйзенштейн и Черкасов; испанская знать и духовенство самой страшной поры увековечены кистью Эль-Греко, Веласкеса, Риберы; Людовик XIV ассоциируется у потомков с романами Дюма и парками Версаля. Художественный образ остаётся в памяти надолго, западает до глубины души. Разве может сравниться с ним по силе производимого впечатления сухой исторический факт? И тем не менее всякий избирающий веденье должен научиться отделять образы исторических персонажей от их реальных прототипов, отягощённых грузом самых страшных преступлений.

Человек нашего времени не может оставаться равнодушным к злодеяниям бесконтрольного единовластия, даже если они стали "делами давно минувших дней". Ибо то, что сотворил Гитлер с евреями, Сталин с крестьянством и офицерством, Мао Цзэдун с интеллигенцией, хотя и превосходит по размаху зверства прошлого, по сути является тем же кровавым самоутверждением неведающей власти в глазах неведающего народа. Во всех перечисленных примерах даже корыстно-грабительский мотив выступает для инициаторов убийств лишь дополнительным стимулом; из погибших во время террора можно было бы выжать гораздо больше, если бы оставить их в живых.

Выбор жертв совершается безошибочно, но совершенно по иному принципу.

Где бы ни укрылись остатки веденья – в традиционной доблести лучших боярских родов, в воздержанности, искусности и трудолюбии морисков, в глубокой и искренней религиозности гугенотов, в деловой энергии евреев, в рачительной хозяйственности так называемых "кулаков", в обладании знаниями и культурой китайских интеллигентов, – всюду звериный нюх неведенья выводит его на правильный след. А сколько раз такое же повторялось в меньших масштабах? А сколько подобных преступлений неведающего единовластия остались нераскрытыми? Обо всех этих миллионах известных и безымянных жертв обязаны мы помнить всякий раз, когда берёмся обсуждать различные формы правления, когда слышим похвалы "крепкой руке", "сильной власти", "прочному порядку".

До тех пор пока человек жив, в душе его может снова и снова разгораться борьба между выбором веденья и выбором неведенья. Каждая человеческая душа – крохотное поле боя, маленький эпизод в гигантской войне, которую веденье и неведенье вечно ведут между собой. И хотя война эта продолжается при любом правительстве и при любом способе правления, мы можем точно сказать:

Покуда силы веденья имеют в государстве перевес, оно управляется демократически; переход к единовластию есть верный знак торжества неведенья в политической сфере; олигархическое правление свидетельствует о примерном равновесии сил.

7. Веденье и неведенье лицом к лицу

а) четыре кардинальных вопроса бытия

Трудно представить себе, каким образом можно постигать мир, не обладая ясностью мысли, богатством воображения, способностью сосредоточивать свой дух на самых абстрактных вещах. Казалось бы, уж эта-то сфера должна была бы при всех обстоятельствах оставаться цитаделью избравших веденье.

Увы, вся мировая история показывает нам, что нигде борьба между веденьем и неведеньем не достигает такого накала, беспощадности и упорства, как в миропо-стижении.

Что есть мир?

Что есть я?

Что я должен?

На что могу надеяться?

Сама ожесточённость противоборства, протекающего вокруг этих вопросов, указывает на их онтологическую важность. Однако не следует думать, будто веденье предлагает свои ответы, неведенье – свои. Любые заслуживающие внимания ответы всегда предлагаются веденьем. Неведенье же требует лишь одного – неизменности их. Цель избирающего веденье – приблизиться к истине, цель избирающего неведенье – получить ответы крепкие и надёжные, как стальные засовы, наглухо закрывающие доступ этим тревожащим душу вопросам в глубину сознания.

Ведь если кто-то умеет трудиться лучше меня, я, в конце концов, могу отвернуться от него и не замечать; если кто-то своим преуспеванием в делах указывает на мою несостоятельность, я могу переменить занятие или уехать туда, где никто не сможет со мной тягаться. Но от того, что живёт во мне с утра и до вечера, ни уехать, ни отвернуться невозможно. Стрела, посланная сомнением или совестью, может вонзиться в меня в любую минуту. Поэтому каждую минуту я должен быть закрыт бронёй ответов, истолкований и оправданий с головы до ног. Иначе мое существование окажется наполненным непрерывной мучительной тревогой. И если я увижу, что какой-то человек вольно или невольно, словом или делом покушается на систему принятых мною ответов, угрожает прочности возведённых мною стен, чувство моё к нему может быть только одно – ненависть.

Но, с другой стороны, и веденье в отношении кардинальных вопросов бытия проявляет какое-то непостижимое упорство. Ради абстракций истины, добра, красоты, веры люди готовы терпеть нищету, лишения, позор, одиночество, тюрьму, идут порой на явную гибель, лишь бы не изменить своему выбору. Делая душу человека открытой сомнениям, тревогам, укорам совести, веденье неизбежно превращает для него творческое постижение мира в важнейшую задачу. Ибо и ведающий жаждет обрести уверенность в своих ответах; но, если неведющему для этого достаточно видеть, что никто не рискует сомневаться, ведающему нужны ответы, способные усто-ять перед любым критическим исследованием. Подвергая постоянным испытаниям систему сложившихся представлений о мире, человеке, справедливости, Боге, он неизбежно навлекает на себя неудовольствие, гнев, преследования со стороны неведенья.

Если мы будем снова и снова проводить перед мысленным взором образы гонимых художников и учёных, у нас может в какой-то момент возникнуть иллюзия, будто действительно каждого из них травили не за одно и то же, не за выбор, а за совершенно разные провинности, – столь изобретательно неведенье в отыскании поводов для гонений.

Да, скажет оно, многих из них томили в тюрьмах, но тому случались разные причины. Кампанелла и Достоевский были заговорщиками, Торквато Тассо и Бенвенуто Челлини имели влиятельных врагов, Радищев и Кропоткин нападали на существующие порядки, Генри Торо сидел за отказ платить налоги, Фрэнсис Бэкон – за взятки, Роджер Бэкон – за отступление от церковных догм, Войно-Ясенецкий – за строгое следование им.

Да, Овидий, Вольтер, Пушкин, Лермонтов многие годы провели в ссылке. Но не сами ли они виноваты, что так или иначе прогневали своих монархов?

Как ни печально, список изгнанных или вынужденных покинуть отечество своё тоже довольно велик. Но опять же за что? Анаксагор, Платон, Руссо, Гойя неправильно понимали волю богов и их служителей. Данте, Байрон, Мицкевич, Гюго замешались в политическую борьбу. Гоббса, Шатобриана, де Сталь, Рахманинова, Цветаеву, Томаса Манна, Фейхтвангера выбросило за пределы родной страны гигантскими революционными взрывами.

Да, некоторых служителей муз подвергали унижительным наказаниям. Но если бы Сыма Цянь занимался исключительно историческими хрониками и не высказывался по поводу дворцовых интриг, император не стал бы подвергать его кастрации; Макиавелли пытали не как историка, а как активного участника политической борьбы; и Даниель Дефо стоял у позорного столба не за "Робинзона Крузо".

Конечно, известны случаи, когда на их головы обрушились публичные проклятия, анафемы, отлучения. Но разве Абелияра, Виклифа, Галилея, Спинозу, Толстого, Ахматову, Пастернака обвиняли в одном и том же?

Бывали, бывали в истории и трагические развязки судеб. Но вольно же было Сократу, Яну Гусу, Иерониму Пражскому, Томасу Мору, Аввакуму так упрячиться. Что им стоило вслух покаяться, а втайне остаться при своём?

Наконец, согласитесь, что Сенека и Петроний, Лавуазье и Шенье, Лорка и Бергсон, Мандельштам и Вавилов и многие, многие другие оказались просто случайными жертвами террора.

Кроме того, разве нельзя привести сотни примеров, когда судьба учёных, художников, моралистов и богословов складывалась счастливо и безмятежно?

Можно – но только в тех странах и в те периоды, где и когда выбор веденья обладал достаточной силой, чтобы защищать их от враждебности неведенья. При этом не надо забывать, что даже там, где неведенье не могло

Метаполитика. Ефимов Игорь Маркович filosoff.org
прибегнуть к прямому насилию, оно сдавливало всякий свободный дух потенциальной угрозой его, окружало атмосферой страха и холодом отчуждения. Иначе зачем было Копернику воздерживаться от публикации своего открытия вплоть до самой смерти? Леонардо да Винчи – изобретать зеркальную тайнопись? Декарту – держаться подальше от родной Франции? Паскалю – печататься в подпольной типографии? Канту – выждать момент, а потом в судорожной спешке писать "Критику чистого разума" за пять месяцев? Кьеркегору – менять псевдоним за псевдонимом?

Среди причин, приводивших учёных и художников к трагическому исходу, больше всего любят выдвигать вмешательство в нечто, их как бы не касающееся, – в политические и религиозные распри. Будто человек, избравший веденье, может ограничить себя научными или художественными занятиями, а на окружающую несправедливость, оскорбляющую его нравственное чувство, на извращение и профанацию божественных откровений не обращать внимания. Он не был бы ведающим, если б умел сознательно закрывать глаза на те или иные стороны бытия; а если б под гнётом необходимости научился, расплатой за такое умение явился бы неизбежный творческий спад в профессиональной деятельности. Поэтому сколько бы нас ни уверяли в том, что все эти мученики были случайно затянуты в гибельный водоворот борьбы, само количество этих "случайностей" ясно свидетельствует об обратном: о том, что ни один высокий дух не мог замкнуть себя в узкой скорлупе своей специальности, что, отстаивая свой выбор, он поневоле вставал неведенью поперек дороги и навлекал на себя его удары.

б) Религиозная борьба

Социальное устройство любого "мы" находится в теснейшей связи с миропостижением. Им оно оправдывается, истолковывается, укрепляется, им же расшатывается, ослабляется, подготавливается к переменам. На протяжении всей оседло-земледельческой эры функции миропостижения почти всюду находились в руках священнослужителей. Верховная власть вынуждена была искать либо союза с церковью, либо добиваться её подчинения себе; церковь часто претендовала на самостоятельную роль, ибо видела зависимость центральной власти от себя. Но, подчинённая или господствующая, она никогда не поступалась своим монопольным правом нести людям ответы на основные вопросы бытия. Поэтому-то самые отчаянные схватки между веденьем и неведеньем в сфере миропостижения принимали характер религиозной борьбы.

Причины упорства многовековых вероисповедных смут останутся скрытыми от нас, если мы будем только осуждать неведущих. Выдвигая против неведенья одно обвинение за другим, мы рискуем забыть о том бесценном благе, которое оно несёт каждой душе и на котором держится и будет держаться его вечное могущество.

Благо это – душевный покой, безмятежность, непоколебленность.

Когда мне говорят, что мир был сотворён за семь дней, что он имеет начало и будет иметь конец, что сам я не что иное, как глина, в которую вдута бессмертная душа, что весь круг моих обязанностей описан десятью правилами поведения, а за гробом я могу надеяться на райские кущи, я сразу чувствую, что мои блуждания в океане сомнений окончены и с отрядным чувством опускаюсь на твердую почву этих ответов, не весть откуда взявшуюся у меня под ногами. А если в определённый момент мне ещё объявляют, что и нарушение предписанных правил – грех – не будет тревожить душу, если у тебя есть деньги, чтобы откупиться от него, то тут я прихожу в полный восторг и признаю предложенную систему ответов наилучшей.

Ни в чём другом трогательное слияние неведенья церковного с неведеньем народным не выступает с большей наглядностью, чем в этом феномене – успешной торговле отпущениями грехов.

Выручка от продажи индульгенций в течение трёх веков составляла существенную статью папского дохода, позволяла иногда при пустой казне финансировать крестовые походы, раздавая участникам даровые отпущения. Великие реформаторы обрушили много гневных слов на эту предельную степень растления религиозного чувства. Но как силен был соблазн, видно хотя бы из того факта, что сам Ян Гус в бытность студентом "истратил свои последние четыре гроша на покупку индульгенции, не оставив себе ничего на еду" [46, т. 2, с. 114].

Не надо воображать, будто одно католичество запятнало себя подобной торговлей. Уже в Древнем Египте за пятнадцать веков до Рождества Христова мы видим, как церковная иерархия наживается на поблажках, делаемых увёртливой совестью. "Высекается из камня священный жук или скарабей и на нём пишется магическая формула, начинающаяся знаменательными словами: "О моё сердце, не восстань на меня как свидетель!" настолько могущественно это

Метаполитика. Ефимов Игорь Маркович filosoff.org
хитроумное изобретение, что если положить его на грудь умершего – под повязки мумии, то, когда грешная душа предстанет в судной палате перед страшным Осирисом, укоряющий голос сердца будет безмолвствовать и великий бог не увидит зла... Также жреческими писцами продаются всякому желающему свитки книги мертвых, содержащие кроме всевозможных магических формул сцену суда и в особенности желательную оправдательную сентенцию, причём имя счастливого покупателя вписывается в свободные места, оставленные для этой цели на протяжении всего документа" [10, т. 1, с. 260].

Православие действовало несколько иным манером. "Учение о молитве за усопших древнерусская рядовая совесть усвоила недостаточно вдумчиво и осторожно: возможность молитвы о душах умерших, не успевших принести плоды покаяния, приободряла к мысли, что и нет нужды спешить с этим делом... Страдательная заботливость церкви послужила для податливой на соблазн и трусливой совести поводом к мнению, что можно отмолиться чужой молитвой, лишь бы были средства нанять её и лишь бы она была не кое-какая, а истовая, технически усовершенствованная молитва. Привилегированными мастерскими такой наёмной молитвы были признаны монастыри" [36, с. 267, т. 2], получавшие огромные вклады деньгами и землёй на душеспасительные молебствия.

Покладистость религиозных наставников привязывала к ним паству с необычайной силой. В чем состоял секрет огромного влияния иезуитов? Паскаль почти не утрирует, когда вкладывает в их уста такие сентенции: "Люди до того теперь испорчены, что мы (иезуиты), не имея возможности привести их к себе, принуждены идти к ним сами... Чтобы удержать их, наши казуисты рассмотрели те пороки, к которым они наиболее склонны... и установили правила настолько лёгкие, что надо быть уж чересчур требовательным, чтобы ими не удовлетвориться... Все наши отцы единодушно учат, что считать сердечное сокрушение о грехах необходимым есть заблуждение и даже ересь" [57, с. 76, 153]. Подобная метода давала столь блестящие результаты, что даже человек, подобный Людовику XIV, имевшему духовником непременно иезуита, мог умереть, не узнав, что такое угрызение совести. "Покаяние на чужой счёт, на счёт гугенотов, янсенистов, врагов иезуитов... фарисейская привязанность к букве закона и шелухе религии дала королю изумительное спокойствие в те страшные минуты, когда обычно исчезает даже тот покой, который опирается на чистую совесть и истинное покаяние... Вот какова ужасная сила искусной лжи... вот каково отвратительное учение, которое во имя мирских интересов обманывает грешников до самой могилы и приводит их к ней умиротворёнными по пути, усыпанному цветами" [63, т. 2, с. 184].

Все отступления от Священного писания, сделанные историческим христианством в догматике, символике и организации церковной жизни, явились по сути своей такими же услужливыми уступками силам неведенья.

Монотеизм, унаследованный христианством от иудаизма, был и остается самой высокой вершиной, достигнутой человеческим духом в сфере постижения Божественного начала. Однако поклонение Богу единому, вездесущему, всемогущему и невидимому требовало такой прочности представлений "инабстрактно", такого высокого уровня веденья, какого невозможно было достигнуть одним крещением и молитвами. Поэтому при своём расширении христианство неизбежно впитало в себя черты многобожия и идолопоклонства. "Под общим названием христиан мы находим в Европе настоящих язычников, как, например, нижнебретонца, молящегося идолам; фетишистов, как, например, испанца, обожающего амулеты; политеистов, как, например, итальянца, почитающего за различные божества мадонн каждого селения" [45, с. 82]. "Дева Мария, будучи сперва только хорошей женщиной, мало-помалу узурпировала многие атрибуты Всемогущего, пока Реформация не положила предел этому процессу. Бог и Святой Николай играют одинаковую роль во всех молитвах и просьбах москвитян" [86, с. 25].

Огромное влияние и распространение католицизма в значительной мере проистекают не от великих культурных традиций, с ним связанных, а от того, что оно дальше всех заходило в своих уступках неведенью, обладает самым огромным и утончённым арсеналом средств для обеспечения каждой душе безмятежной успокоенности. "Рядом с каждым страшным догматом в католицизме есть другой догмат, который его смягчает, который, делает его острие менее проникновенным и менее суровым" [83, с. 198]. "конкрето" богатства, чудес, мирской власти – все дьявольские искушения, отвергнутые Христом в пустыне, – были приняты католицизмом и стали его постоянным оружием. Но зато и сопротивление, оказанное ему выбором веденья, было самым отчаянным, жертвенным и плодотворным.

Если рассмотреть все ереси, осуждённые папами и соборами за много веков христианской истории, то станет совершенно ясно, что главная ересь была на самом деле всегда одна и та же: выбор веденья. Она могла принимать те или иные оттенки, зависевшие от личности ересиаρχа и конкретных условий его

Метаполитика. Ефимов Игорь Маркович filosoff.org
деятельности, но гласила она следующее: "Сердце и Священное писание внушают мне одно, слова и поступки пастырей церковных – другое, и я не могу спокойно закрыть глаза на это противоречие, ибо дело идёт о самом важном, что только есть в жизни человека, – о спасении души".

Возьмём для примера краткое изложение ереси Виклифа, написанное его учениками в 1389 году:

"Современные папы – воплощение антихриста; вся иерархия, начиная с папы и до последнего священника, проклята за свою алчность, симонию, жестокость, жажду власти и дурное поведение.

Индальгенции, столь широко распространяемые за деньги и за участие в крестовых походах, где убивают христиан, пустой обман.

Исповедь перед священником может принести пользу, но она не необходима. Поклонение иконам противоречит божескому закону; изображения Святой Троицы следует запретить.

Призывать святых бесполезно. Можно соблюдать праздники апостолов и первых святых, но не более...

Пение должно быть изгнано из богослужения; молитва одинаково действительна как в церкви, так и в другом месте.

Духовенство не должно жить в роскоши, но в бедности, давая собою пример святости.

У церкви следует отобрать все её мирские имущества; получение священником платы за отправляемую им духовную службу есть симония...

Все священники и диаконы должны ревностно проповедовать, не нуждаясь для этого в особых разрешениях и полномочиях.

Таинства, совершаемые даже и недостойным священником, приносят пользу тем, кто с благоговением их принимает, но сам священник остается осужденным".

С подобными же положениями выступал и Ян Гус. За двести лет до Виклифа и Гуса Вальдо проповедовал то же самое. "Вальденец Фридрих Рейзер примкнул к гуситам и отправился с ними на гору Табор; здесь он увидел, что оба вероучения тождественны, и получил посвящение из рук таборитского епископа" [46, т. 2, с. 83, 63]. А сто лет спустя после казни Гуса Лютер самостоятельно пришёл к тем же выводам; тезисы, прибитые им к дверям церкви в Виттенберге (1517), содержали всё ту же программу. Но даже и в тех случаях, когда ересь имела существенные отличия, она искала опоры всё в том же Священном писании и не соглашалась мириться с извращениями и перетолковываниями его, внесёнными папством.

В этом и состояла главная "преступность" еретиков.

Церковь, захваченная неведеньем, не желала допустить, чтобы священные тексты понимались в их прямом смысле. Да и как она могла с этим смириться? Блаженный Августин, считающийся столпом и опорой католицизма, говорит: "Ибо, по неизреченному провидению Бога, многие из тех, которые, по-видимому, вне церкви, находятся в ней и которые, по-видимому, внутри, находятся вне её..." Но ведь в этих словах смерть католицизма!.. Ведь Августин проповедует невидимую церковь – то есть восстаёт против основного догмата католичества, исповедующего церковь видимую и видимого же наместника Бога на земле, облечённого всей полнотой власти" [83, с. 179, 241]. А что говорит апостол Павел? "Не слушатели закона праведны перед Богом, но исполнители закона оправданы будут; ибо когда язычники, не имеющие закона, по природе законное делают, то, не имея закона, они сами себе закон: они показывают, что дело закона у них в сердцах, о чём свидетельствуют совесть их и мысли их, то обвиняющие, то оправдывающие одна другую" [Римл., 2:13-15] Не тот ли самый критерий берёт за основу и еретик Лютер, утверждая, что "в Божьих делах мы не должны следовать нашему суждению и определять, что, по нашему разумению, трудно, легко, хорошо, дурно, справедливо, несправедливо... Сколько бы добра ты ни сделал, даже если ты проливал свою кровь, всё же твоя совесть волнуется и говорит: "Кто знает, угодно ли это Богу?"" [83, с. 241].

Вот это – то состояние души, когда "совесть волнуется и говорит – кто знает, угодно ли это Богу", когда "мысли то обвиняют, то оправдывают одна другую", состояние, равно доступное христианину, иудею, язычнику, мусульманину, атеисту, и есть то, что метаполитика именует выбором веденья. Всякая упрочившаяся иерархия служителей церкви, претендуя на полноту своих ответов, естественно оказывается во враждебном отношении к тем, кто этими ответами не удовлетворяется, кто продолжает тревожиться и вопрошать. Дух консерватизма и неведенья неизбежно проникает в любую церковь, имеющую характер централизованной организации. Однако было бы недопустимым упрощением на этом основании считать всякое выступление против церковной власти выбором веденья. Еще более грубым схематизмом явилось бы присвоение ярлыков "ведающего" или "неведающего" различным людям по признаку их принадлежности к той или иной религии, секте, направлению.

Рассмотрим с этой точки зрения историю двух великих смут, потрясших православную церковь.

В начале VIII века "образованные светские люди в Византии и значительная часть высшего духовенства смотрели с опасением и неудовольствием на направление, какое всё больше и больше принимала религиозная жизнь народа. В ней всё более обнаруживалась особого рода набожность, имевшая сильный античный, чтобы не сказать языческий, колорит. Под христианской перелицовкой продолжали существовать многочисленные обычаи и обыкновения, носившие на себе отпечаток ярого суеверия. Любовь к древним реликвиям, выработавшаяся в последние века Римской империи, перешла в несколько изменённой форме к византийскому народу. Вера в покровительство святых доходила до того, что, полагаясь на защиту святого заступника, люди ленились и переставали работать. Наиболее характерным для этого периода является почитание икон, которое иногда превращалось в грубое суеверие; так, например, некоторые фанатики соскабливали с икон краску и бросали ее в чашу, из которой причащались... Император Лев Исавр открыл свой поход против икон в 726 году. Царский указ осуждал иконопочитание как своего рода идолопоклонство; фактически было приказано только повесить иконы в церквях так высоко, чтобы их нельзя было касаться руками и лобызать" [16, с. 94, 96].

Народ и большая часть монашества встретили этот указ гневным возмущением. В Греции вспыхнуло восстание такой силы, что флот восставших удалось разбить только под стенами Константинополя. "Теперь, когда на карту был поставлен царский авторитет, Лев пошёл значительно дальше в церковном вопросе. Новый указ 728 года... повелевал удалить из церквей все изображения Христа, Богородицы, святых мучеников, а нарисованные на стенах закрасить... Предводители армии, за немногими исключениями, держали сторону царя. Точно так же на его стороне стояло большинство светских лиц в Азии, большинство чиновников и высшего общества и часть духовенства. Зато народная масса цепко держалась иконопочитания, и борьба за иконы, которая была для неё гораздо осязаемее и понятнее, чем прежние догматические споры, возбуждала византийский народ гораздо сильнее, чем прежде споры об отношении Сына к Отцу и различных природах в лице Спасителя. К этому присоединилось, что женщины всех сословий вплоть до царских сестёр и жён были ревностными последовательницами иконопочитания" [16, с. 97].

Можно согласиться, что по своему исходному импульсу и иконоборчество было проявлением выбора веденья, пытавшегося оттеснить конкретное изображение бога в скульптуре и красках абстрактными представлениями о нём, лежащими в основе Священного писания. Но когда дело из сферы идейной борьбы перешло в реальность всенародной смуты, принципиальная разница между иконоборцами и иконопочитателями исчезла. Так, покуда две армии противостоят друг другу на склоне горы, мы ещё можем сказать, какая занимает высоты, какая - низины; но к моменту начала сражения одна поневоле должна спуститься, другая - подняться, и дальше всё смешается в крови, дыму, криках. Сторону императора могли принять тысячи людей, безразличных к иконам, вере, Богу, жаждущих лишь власти и денег; наоборот, защитниками икон делались люди, исполненные глубокой религиозности, искренне преданные вере отцов, шедшие на мученическую смерть, внимавшие пламенным речам Иоанна Дамаскина как божественным откровениям. Поэтому у нас нет никакого права считать, что поражение иконоборчества и возвращение в 842 году икон и распятий в храм Святой Софии ознаменовало собой торжество неведенья.

Аналогичная борьба, но с иным исходом вспыхнула восемь веков спустя в России.

Состояние вероучения в Московском государстве уже давно внушало тревогу просвещённой части церковной иерархии. Еще при Василии III был привезён из Константинополя учёный монах Максим Грек, которому было поручено проверить богослужебные книги и, если надо, внести в них исправления. "Исполнив это и заметив много весьма тяжких заблуждений... (он) объявил лично государю, что тот является совершенным схизматиком, так как не следует ни римскому, ни греческому закону... После этого он, говорят, исчез и, по мнению многих, его утопили" [14, с. 65]. Деятельность Ивана Грозного, конечно, не могла способствовать повышению культурного уровня церковной жизни. Флетчер сообщает, что епископ, с которым он разговаривал в Вологде, не знал числа евангелистов. "Что же касается до объяснения в проповедях Слова Божия, поучения или увещеваний, то это у них не в обычае и выше их знаний, потому что всё духовенство не имеет никаких сведений ни о других предметах, ни о Слове Божиим... Будучи сами невеждами во всём, они стараются всеми средствами воспрепятствовать распространению просвещения и (недавно подбили народ в Москве сжечь первую типографию)" [79, с. 95].

Всё это говорит за то, что просветительные преобразования, начатые патриархом Никоном в 1653 году с редакции и исправления церковных книг,

Метаполитика. Ефимов Игорь Маркович filosoff.org
можно признать делом полезным, необходимым, давно назревшим. Однако так же, как и в Византии, естественное сопротивление верующей массы нововведениям в книгах и обрядах немедленно превратило чисто богословскую проблему в вопрос о престиже церковной и светской власти. Нетерпеливый, невыдержанный патриарх не желал признавать той истины, что "религиозное мирозерцание и настроение каждого общества неразрывно связаны с текстами и обрядами, их воспитавшими" [36, т. 3, с. 289], что невозможно так вдруг вырвать из души верующего одно и вставить нечто другое. Преследования и казни, обрушенные на непокорных, вызвали в первые ряды сопротивляющихся тех русских христиан, чья вера даже в рамках прежней, "неисправленной", обрядности была глубокой и искренней. Мученик Аввакум, отстаивая тёмную старину, поднялся на духовную высоту, недосыга-емую для его просвещённых гонителей. Старообрядчество прошло через горнило таких испытаний, что и до наших дней сохранило черты нравственной строгости и душевной силы, позволившей ему пережить три века гонений, гнёта, отверженности.

Для "абстрактно" духовных устремлений ничто не представляет большей опасности, чем "конкрето" обретенной власти, – в этой истине мы будем убеждаться снова и снова, знакомясь с историей религии.

Когда в VIII веке среди учёных и священнослужителей ислама зародилось движение мутазилов, оно привлекло к себе большинство мыслящих и образованных людей. "Руководящей точкой зрения философии религии мутазилитов было стремление очистить монотеистическое понятие о божестве от всех затемнений и искажений, которое оно претерпело в традиционных народных верованиях" [19, с. 94]. Они пытались искоренить антропоморфические представления о Боге как существе с руками, ушами, устами, утверждали сотворённость Корана и свободу воли, дарованную человеку Богом, пытались рассуждать о религиозных догматах так, чтобы не входить в противоречие с рациональным мышлением. Первоначально они вели себя соответственно своему наименованию (мутазилиды – "аскеты", "удаляющиеся"). Но с того момента как на их сторону встал халиф Мамун (813–833), "сговорчивые люди и другие органы религиозной власти взяли на себя роль инквизиторов, чтобы руководить преследованиями и гонениями против непреклонных исповедников ортодоксальной формулировки... Инквизиторы либерализма были, если это возможно, еще ужаснее, чем их приверженные букве собратья... Когда мутазилидам посчастливилось в продолжение правления трёх аббасидов видеть своё учение признанным даже государственной догмой, то они защищали его инквизицией, тюрьмой, террором" [19, с. 105].

Даже протестантизм не смог выдержать до конца испытания властью. Кальвинистская Женева запятнала себя сожжением Сервета. В Англии "после торжества парламентских армий в 1649 году наступило царство "святых"... с их вмешательством в жизнь простых людей, с их запретом театров и традиционных спортивных состязаний... Искоренение порока было возложено не на церковные, а на обычные светские суды. В 1650 году был проведён закон о наказании смертью за нарушение супружеской верности, и это дикое наказание действительно применялось в двух или трёх случаях. После того как даже пуритане отказались выносить приговоры, эта попытка провалилась... Использование солдат для обхода частных домов в Лондоне с целью проверки, не нарушается ли суббота и соблюдаются ли установленные парламентом посты, вызывало самое резкое негодование" [75, с. 253, 251]. В конце концов стало ясно, что "попытка обеспечить духовные блага грубой силой не удалась... Было невозможно отличить святого от лицемера, когда святость и благочестие сделались выгодным делом" [20, т. 3, с. 254].

И всё же, несмотря на все срывы, злоупотребления, искажения, Реформация явилась по своему размаху, результатам и значению самой гигантской битвой и самой великой победой выбора вёды в новой истории.

в) Протестантизм и миропостижение

Религиозные войны, начавшиеся в Германии в 1548 году и полыхавшие по всей Европе в течение ста лет вплоть до Вестфальского мира, были по сути своей не чем иным, как вооружённым противоборством между веденьем и неведеньем, перешедшим из сферы идейной борьбы на поля сражений. Смертельная вражда, раскалывавшая христианские нации, города, семьи, имела своим источником, конечно же, не схоластические разночтения Библии, но онтологическую невозможность сосуществования рядом двух противоположных выборов. Недаром большинство этих войн были гражданскими. Земля Германии, Франции, Шотландии, Нидерландов, снова Франции, снова Германии, Чехии, наконец, самой Англии по очереди и одновременно окрашивалась кровью жесточайших междоусобий. Межнациональные конфликты этой эпохи, за редким исключением, тоже носили ярко выраженный религиозный характер. Завершающий

Метаполитика. Ефимов Игорь Маркович filosoff.org
этап борьбы, именуемый Тридцатилетней войной (1618-1648), втянул в себя практически все народы тогдашней Европы. Протестанты Дании, Швеции, Голландии, Англии, Франции не жалели своей крови и своих денег на дело защиты протестантов чешских и немецких и в конце концов отразили натиск католической лиги.

Конечно, в таком гигантском катаклизме можно было обнаружить любые отклонения и завихрения. Политическое или экономическое соперничество могло вдруг столкнуться с вчерашними союзниками, как Данию и Швецию в 1643-1645 годах. Самодержавные интриганы вроде Ришелье и Стюартов, стремясь к достижению собственных целей, поворачивали свои силы то так, то эдак. Но основной водораздел борьбы проходил всё же в сфере духовно-религиозной.

Если мы попытаемся провести качественное и этико-моральное сравнение противостоящих друг другу лагерей - протестантского и католического, - нам будет нелегко найти убедительные свидетельства в пользу одного из них. С обеих сторон за долгие годы кровавой борьбы было совершено столько бессмысленных жестокостей, обманов, измен, убийств, грабежей и в то же время показано столько примеров мужества, самоотверженности, верности долгу, душевной стойкости, что каждая может указать на сотни героев и мучеников в своих рядах и на сотни преступников в рядах противника. Сравнение вождей мало о чем говорит. Пусть нам кажется, что при необходимости выбирать между Елизаветой I Английской и Филиппом II Испанским, между Вильгельмом Оранским и Альбой, Колиньи и Екатериной Медичи, Генрихом Наваррским и Генрихом Гизом, Густавом Адольфом и Валленштейном всякий здравомыслящий человек предпочёл бы первого второму, но такой аргумент остается целиком в сфере эмоциональной. Да, католики устроили в Париже Варфоломеевскую ночь, но ведь и фламандские иконоборцы в 1566 году громили церкви и побивали священников; да, император австрийский установил в Чехии настоящий террор, но ведь до этого чехи первые выбросили из окна двух императорских чиновников; да, армия Валленштейна содержалась исключительно за счёт открытого грабежа населения, но ведь и шведы в глубине Германии питались не посылками из дома. Повторяю, с того момента, как люди взялись за оружие и покрылись пятнами своей и чужой крови, различить их становится очень трудно.

Но если мы взглянем на ситуацию, предшествовавшую Реформации, и на состояние Европы после Вестфальского мира (1649), то есть на периоды до и после религиозных войн, то разница между противниками окажется огромной, принципиальной и вполне наглядной.

О преступлениях пап, о растленности церковной иерархии, о бесчисленных извращениях ими буквы и духа христианского учения написаны сотни книг. Индульгенции и инквизиция - если бы только эти два клейма оставались на щеках средневекового католицизма, то и того было бы довольно. Споры нет, и среди католиков той поры встречались люди высокой души, подобные Томасу Мору, исполненные глубокой веры, способные пойти на самопожертвование ради своих религиозных идеалов. Или такие, как испанский епископ Лас Касас, который пытался в течение одиннадцати лет спасти от истребления туземцев Нового Света, а потерпев поражение, отказался от сана и впоследствии издал (в протестантской, конечно, стране) страшный обвинительный документ: "Краткий отчет о разорении Индии" (1552). Или такие, как немецкий священник Фридрих фон Шпее, автор обличительной книги о процессах ведьм, изданной им с риском для жизни. И тем не менее доминирующей и всё определяющей силой в католицизме того периода были не эти люди, а властное, изошёренное, сплочённое, блестяще организованное неведение.

Иногда оно являло себя с простодушно-палаческой откровенностью, как, например, в указе Карла V: "Воспрещается всем мирянам открыто и тайно рассуждать и спорить о Священном писании, особенно о вопросах сомнительных и необъяснимых... В случае нарушения виновные подвергаются наказанию: мужчины наказываются мечом, женщины - зарытием живьем в землю, если не упорствуют в своих заблуждениях; в противном случае они предаются огню" [48, с. 17].

Иногда неведение вооружалось тончайшей софистикой. Во время Констанцского собора один из прелатов "обратился к Гусу со сладкими и убедительными словами, называл его своим горячо любимым и дорогим братом и призывал его не доверяться так собственному суждению. Ведь если он произнесёт требуемое от него отречение, то не он, Гус, преступит истину, а собор; что же касается клятвопреступления, если допустить, что оно существует, то оно падёт на голову тех, кто составил отречение" [46, т. 2, с. 114].

Если подобная казуистика не действовала, голос неведения превращался в рев толпы, заглушающий все резоны, объяснения и оправдания воплем: "На костёр! На костёр его!"

В частном письме тон его мог приобрести даже черты объективности и

Метаполитика. Ефимов Игорь Маркович filosoff.org
сострадательного восхищения. "Иероним Пражский, - пишет папский секретарь своему другу, - стоял перед собором бесстрашный, неукротимый, добро-вольно призывающий смерть... О человек, достойный вечно жить в памяти людей! Если он придерживается учений, противоположных церкви, то я не стану хвалить его; но я удивлюсь его образованию, его огромной эрудиции, его красноречию, тонкости его возражений" [46, т. 2, с. 123].

Не на таком же ли "сострадании" держались и требования вести дознание в трибунах инквизиций "без пролития крови", то есть ограничиваться дроблением суставов, вливанием в горло кипятка, растягиванием на дыбе, голодом, жаждой, бессонницей, или знаменитая формула при передаче в руки светской власти: "Наказать с возможной мягкостью" - иными словами, сжечь заживо?

Неведенье знает, что чем наглее ложь, тем она убедительнее. Что человек, оказавшийся пассивным свидетелем кровавого злодеяния, с благодарностью ухватится за любую ложь, это злодеяние оправдывающую. Что течение времени не обязательно срывает покровы лжи, но может, наоборот, придать ей оттенок правдоподобия. Даже от разумных людей можно услышать сейчас, что, да, палачи и изуверы XX века были прожжёнными негодьями и преступниками, но те, давнишние, - те веровали. Потому что, если допустить, что они не веровали, их поведение теряет смысл, логику. А утрата логики - это последнее, на что согласится логический ум. Отождествляя искреннее заблуждение с искусственным самоослеплением неведенья, он готов отыскивать оправдание тысячам преступлений, никакому оправданию не подлежащих. Он забывает, что у неведенья своя логика и что всякому избирающему веденье необходимо изучить её, как изучают язык врага.

Верил ли рядовой участник крестовых походов против альбигойцев в XIII веке, что ересь катаров враждебна учению Христа? Несколько десятков фанатиков, возможно, и верили; но основную массу войска составляли просто рьяные грабители, предпочитавшие потрошить богатых христиан Тулузы и Лангедока, вместо того чтобы отправляться в далёкие и опасные экспедиции против неверных.

Верил ли сам Филипп Красивый в то, что тамплиеры вытапливают жир из младенцев и обмазывают им своих идолов, которым приносят человеческие жертвы? Не больше, чем Вышинский верил в "шпионаж" своих жертв или Берия - в "отравительство" кремлёвских врачей. Ну, а те магистры и студенты Парижского университета, перед которыми тамплиеры подтвердили вырванные у них пыткой признания? Они слишком хорошо знали своего короля, чтобы осмелиться не поверить.

Верил ли судья, допрашивающий очередную "ведьму", в подробности её сношений с дьяволом, добавлявшиеся в протокол с каждым новым поворотом винта "ножного жома"? Или просто успешно глушил садистским возбуждением голос совести, тот голос, который прорывался в словах Фридриха фон Шпее: "А к вам, судьи, обращаюсь и спрашиваю вас: зачем вы так тщательно ищите повсюду ведьм и колдунов? Я вам укажу, где они находятся. Возьмите первого встречного капуцинского монаха, первого иезуита, первого священника, подвергните его пытке, и он признается, непременно признается... Возьмите прелатов, кардиналов, самого папу - они признаются, уверяю вас, они признаются" [32, с. 65].

Конечно, люди лгут в любую эпоху, при любой власти, под сенью любой религии. Но столь полное торжество всё затопляющей лжи, это море разлитое вранья, густо окрашенное слезами и кровью, было возможно только при полном торжестве неведенья в сфере миропостижения. Те, кто пошёл за Гусом, Кальвином, Лютером, могли не понимать глубины их веры, не постигать богословских тонкостей их доктрин, но одно они видели ясно: эти люди не лгут. Наоборот, они жизнь свою готовы отдать, чтобы сокрушить полновластие лжи, прикрывшейся самым дорогим и священным - Христом и Библией. Протестантизм можно обвинять во всех крайностях, в антиэстетизме, в душевной сухости, но одного отнять у него невозможно: последовательной ненависти ко лжи во всех её проявлениях. Именно эта глубокая серьёзность и честность взгляда на мир послужили причиной того, что выбор веденья смог сделать протестантизм своим знаменем, смог обрести в нем духовное, политическое и военное единство.

Наука взыскует правды мысли.

Искусство - правды чувства.

Мораль - справедливости.

Вера - Высшей правды.

Поэтому-то с середины XVII века всякое подлинное миропостижение сделалось возможным только там, где абстракция правды обрела высокую ценность в глазах людей, где выбор веденья под эгидой протестантизма отстоял своё право на существование. После Вестфальского мира полнокровная жизнь культуры, свободное движение научной и философской мысли, реализация этических идей в политических учреждениях становятся исключительно уделом

Метаполитика. Ефимов Игорь Маркович filosoff.org
протестантских стран.

Они же стали местом рождения науки и техники индустриальной эры. "Промышленное главенство Лондона начинается с разорения Антверпена и взятия его войсками (католической лиги в 1583 году). Третья часть купцов и фабрикантов разорённого города нашла убежище на берегах Темзы" [20, т. 2, с. 329]. "В городах Голландии и Зеландии пышно расцвели торговля и промышленность... Сюда стекались все, кому было тяжело жить под испанским игом: за пять лет население Амстердама более чем удвоилось" [48, с. 47]. Подавляющее большинство ученых, заложивших основы современной науки, созревали и творили именно в протестантских странах. Ньютон, Бойль, Гук, Уатт, Адам Смит, Кавендиш, Дженнер, Блэк, Франклин, Юнг были англичане; Гюйгенс, Мушенбрук, Левенгук, Сваммердам – голландцы; Лейбниц, Вольф, Ламберт, Фаренгейт, Герике, Кант, Гумбольдт – немцы; Эйлер и все Бернулли – швейцарцы; Линней и Цельсий – шведы.

Существование мощного протестантского лагеря усиливало позиции веденья и в католических государствах. "Добрый город Париж, – писал Барбье в 1733 году, – погружен в янсенизм с головы до ног; вся масса парижского населения, мужчины, женщины и дети держатся этого учения, не зная хорошенько, в чём, собственно, дело, не понимая ни одного слова в его отличиях и толкованиях, просто из ненависти к Риму и иезуитам... Эта партия увеличивается в своей численности всеми честными людьми королевства, ненавидящими преследования и несправедливость" [76, с. 401]. Фран-цузский гений, очнувшись от морока, наведённого на него Людовиком XIV, создал блистательную плеяду учёных и художников века Просвещения. Однако силы неведенья обладали здесь таким перевесом в религиозной сфере миропостижения, что в конце концов выбор веденья должен был отступить от этой крепости. Искусство и наука Франции XVIII века стали воинствующе антиклерикальными. Но не они виноваты в упадке религиозного чувства в народе, а те представители клира, которые делали всё возможное, чтобы изгнать из религии Духа Святого, изгнать того Бога, о котором в Первой книге Царств сказано, что Он "есть Бог веденья и дела у него взвешены" (Царств-1, 2:3).

г) Чей бог лучше?

Всё вышесказанное не следует понимать таким образом, будто выбор веденья стал навеки монопольной собственностью протестантов. Американский протестантизм в течение долгого времени мирился с рабством негров. Немецкий, в своем прусском варианте, не сумел обеспечить выбору веденья достаточную защиту и оттолкнул от себя таких людей, как Гегель, Шопенгауэр, Ницше, Маркс. С другой стороны, католичество ирландцев, поляков, литовцев в течение долгого времени было окрашено всеми чертами выбора веденья, давало опору глубокой и подлинной религиозности. Католики Гладстон, Мендель, Пастер, Честертон, Тейяр де Шарден, Кеннеди, Белль доказали всему миру, что нет такой сферы творчества, которая была бы несовместима с католичеством.

В своё время много горьких слов было сказано в адрес русского православия. "Русская интеллигенция, – писал Бердяев, – религиозная по природе в лучшем смысле этого слова, долгое время была пропитана религиозным индифферентизмом и была одинаково чужда как активного религиозного отрицания, так и активного религиозного созидания... Мы знаем, что у нас обыкновенно или прикладывались к ручке высокого духовного лица и холопствовали перед ним так, как он холопствовал перед правительством, или не считали возможным пребывать с ним в одной комнате; мы не привыкли даже думать, что представители нашего духовенства способны к членораздельной речи, и для нас дика была мысль, что с ними можно спорить о животрепещущих вопросах и высказывать перед ними свободно свои мысли" [7]. Но происходило это не потому, что православие противостояло науке и искусству само по себе, а лишь потому, что на этом историческом этапе православная иерархия была заражена неведеньем в такой же степени, как раньше католическая. Даже такие христиане, как Лев Толстой и Владимир Соловьёв, оказались русскому православию не ко двору, даже в христианстве Достоевского сомневались настолько, что в один момент была поставлена под вопрос возможность церковного погребения для него. Но с того момента как мирская власть была утрачена церковью, власть духовная начала к ней возвращаться. Такие православные, как философ Бердяев, физиолог Павлов, патриарх Тихон, физик Флоренский, хирург Войно-Ясенецкий, поэтесса Ахматова, писатель Солженицын, явили пример небывалой стойкости духа, ясности ума, душевной глубины, мужества, высокого совершенства во владении своим даром.

Поэтому мы должны решительно отказать всякой религиозной или идеологической доктрине в праве считать себя монопольной носителем

Метаполитика. Ефимов Игорь Маркович filosoff.org
выбора веденья. Лишь непрерывное духовное подвижничество постигающих мир может поддержать зрелость народа на должной высоте. История показала, что уступка неведенью хотя бы одной из сфер миропостижения, и в особенности сферы религиозной, чревата для всякой нации тяжелейшими последствиями. Не за эту ли уступку безбожная Франция, протестантская Германия, православная Россия, католическая Испания, мусульманская Турция, языческий Китай расплачивались при вступлении в индустриальную эру одинаково страшными и кровавыми потрясениями?
д) Миропостижение в наши дни

После того как разгоревшаяся во времена Реформации пламенная жажда постигнуть Бога привела к тому, что в эру индустриальную были постигнуты огромные, неведомые дотоле области Его творения, то есть мира, о Боге забыли.

Это отнюдь не значит, что уменьшилось число церквей или верующих.

Распространение веротерпимости могло даже способствовать тому, что религиозное чувство людей возросло и качественно и количественно. Но накал борьбы между выбором веденья и выбором неведенья исчез из сферы религиозного миропостижения. Полку этой борьбы заметно переместился в другую сферу – этико-социальную.

Те, кто раньше посвятил бы свою жизнь решению вопроса "что есть мир?", как Коперник, Бруно, Галилей, Декарт, или вопроса "на что я могу надеяться?", как Фома Аквинский, Виклиф, Гус, Лютер, Янсений, теперь отдавали свои силы искусству и политике, то есть решению двух других кардинальных вопросов бытия.

Политическая борьба, ставшая безусловной доминантой истории нового времени, придавала огромную важность вопросу "что есть я?". Ни одна политическая группа, ни одно политическое течение не могли выступить за тот или иной социальный порядок, не ответив предварительно на вопрос, что же такое человек, в чём заключается его важнейшая нужда и устремление и как в соответствии с этим должна быть устроена совместная жизнь людей в этом новом, расширенном наукой и техникой мире. Поэтому вопросы искусства, этические проблемы философии, история, экономика, психология, биология и прочие науки о человеке начинают возбуждать вокруг себя такое кипение страстей, которое показалось бы совершенно непонятным и несоразмерным людям прошлого, убивавшим друг друга за разномыслия о соотношении божественной и человеческой природы в личности Христа, за двуперстие и написание имени Иисус, за причащение не только хлебом, но и вином. Чуткое внимание читающей и мыслящей публики с жадностью устремляется туда, где веденье обретает голос, переходит в наступление и пробивает бреши в сплошной стене неведенья. Раз цензура не пропускает ни слова о Боге или политике, люди готовы удвоить свою духовную жажду заметками Дидро о выставках в Салоне, искусствоведческими трактатами Лессинга и Винкельмана, статьями Белинского, лекциями Грановского. Художественная литература как главный исследователь глубинной сущности человека становится властительницей дум, оттесняя на второй план все прочие формы миропостижения. Чтобы услышать глас пророка, "божественный глагол", люди идут теперь не в церковь, но в книжную лавку, заучивают наизусть не библейские тексты, но строки Шиллера, Гёте, Байрона, Мицкевича, Пушкина, Лермонтова.

Когда же к вопросу "что есть я, человек?" присоединяется вопрос "что я должен?" в его социально-политическом аспекте, битва снова перемещается с книжных страниц и университетских кафедр на поля сражений и улицы городов, перегороженные баррикадами.

Оглядывая сейчас события последних двух веков, зная все извращения, которым подверглись те или иные доктрины о человеке и обществе, имеем ли мы право вынести приговор их создателям?

Руссо, считавший, что всякий человек рождается равным всем прочим, разумным и добрым и что людей ничто не разделяет, кроме сословных барьеров и предрассудков, – виновен ли он в якобинском терроре?

Ницше, поклонявшийся мужеству человеческого духа, призывавший к нему, утверждавший величие тех, кто смело принимает одиночество и ответственность, проистекающую из свободы, – сказал бы он "да" нацизму?

Маркс, видевший спасение миллионов людей от гнёта, страданий, нищеты и бесправия в уничтожении частной собственности, – должен ли быть ответственным за то, что его именем миллионы людей были гонимы и убиваемы уже после того, как у них была отнята всякая собственность?

Кропоткин, любивший свободу человека с такой страстью, что не соглашался принять никаких границ, накладываемых государством на личность, – лежит ли на нём кровь тех, кто был разорван бомбами старых и новых анархистов?

Если они и виновны, то не в большей степени, чем Христос виновен в инквизиции, пытках, крестовых походах детей, сожжениях и самосожжениях. Ибо

Метаполитика. Ефимов Игорь Маркович filosoff.org
нет такой философской или религиозной доктрины, которая могла бы считать себя гарантированной от захвата силами неведенья.

Что же касается места, занимаемого этими мыслителями по отношению к выбору, то можно заранее сказать, что всякий человек, чьё имя осталось в истории культуры, был ведающим в высокой мере. В противном случае он не мог бы создать ничего достойного упоминания. Неведенье присутствует в миропостижении всегда безлико и безымянно. Когда оно объявит кого-то из подлинных творцов своим пророком, это ещё отнюдь не значит, что тот дал ему для этого повод. В любом этическом, политическом, религиозном учении неизбежно есть какая-то доля односторонности, неполноты, непоследовательности. Если бы какие-нибудь фанатики попытались воплотить в жизнь "Государство" возвышенного Платона или "Утопию" безупречного Томаса Мора, последствия могли оказаться еще более страшными, чем торжество нацизма в Германии. Даже в ситуациях прямого идейного поединка мы часто не вправе назвать кого-нибудь из противников защитником неведенья. Августин и Пелагий, Кирилл и Несторий, Мор и Лютер, Никон и Аввакум, Гегель и Шеллинг, Плеханов и Кропоткин, Белинский и Гоголь, Маркс и Ницше, Дарвин и Бергсон – все они доказали своей жизнью, что для них "абстрактно" правды божеской, или человеческой, как они её понимали, было несравненно выше любого "конкретно" их личной судьбы и благополучия. В их противоборстве веденье испытывалось веденьем, и это-то и придавало борьбе серьёзность, трагизм и плодотворность.

Особенно в России новое время дает целый ряд примеров чисто апостольского служения выбору веденья как таковому. Кто такие были Радищев, Чаадаев, Герцен? Ученые, философы? Но они не оставили научных трудов. Писатели? Но литература была для них лишь средством обращения к людям. Политики? Но они не принадлежали ни к каким партиям. Главным пафосом их жизни и деятельности было активное противостояние всемогущей официальной лжи. Правда была их религией, заменяла им веру в Бога. Многие из тех, кто пришёл потом к христианству, тоже начинали с религиозной преданности выбору веденья. Не о таких ли, как Гоголь, Достоевский, Толстой, Бердяев, сказано: "Я открылся не вопрошающим обо Мне; Меня нашли не искавшие Меня" [Исайя, 65:1]. И те, кого сейчас называют русскими диссидентами, не имеют в большинстве своём под ногами ни политической, ни религиозной почвы. Один лишь свободный выбор веденья даёт им силы противопоставлять себя напору административного произвола, прикрытого хвастливым враньем, идти на риск безработицы, ссылки, тюрьмы, лагеря, психушки, а порой и смерти ради абстракции, именуемой "права человека".

В наименьшей степени правота этих людей опирается на логику их аргументов. Да и невозможно бороться логически с неведеньем, захватившим социальную функцию миропостижения. Оно шутя отменяет любые доводы, ссылаясь на свои священные книги, на волю богов, на классовое чутье, на расовые законы, на историческую необходимость. Бороться с ним можно только экзистенциально, личным мужеством. Но неведенье иногда оставляет метод прямого насилия и, пользуясь открытостью избравшего веденье, поражает его вопросом:

Ради чего ты поднимаешь шум?

Не из тщеславия ли сеешь раздор?

Что за удовольствие для тебя возмущать сомнение и тревогу в неiskusенные души?

Даже для тех, кто найдёт чем ответить на это обвинение ("Служу Богу, служу народу, человечеству, мировой культуре"), вопрос не потеряет своего язвительного жала. Ибо поистине выбор веденья ощущается каждым как глубоко личное дело, и искусный софист может всегда представить его перед взглядом чуткой совести проявлением эгоизма, самомнения и себялюбия. "Откуда ты знаешь, что с тобой говорил Бог, а не дьявол?" – спрашивали Жанну д'Арк. "Как можно так доверяться собственному суждению?" – спрашивали Яна Гуса. "Да есть ли для вас что-нибудь святое?" – спрашивали Гоголя. "Вот чего вы добились своей болтовнёй о свободе!" – кричали Набокову-старшему в 1918 году.

И здесь-то избирающий веденье должен быть особенно внимателен и тверд, чтобы не дать казуистике ослабить свое мужество.

Он должен помнить, что выбор, хотя и является его личным делом, невидимыми путями влияет на судьбы всех его соплеменников, всего человечества. Ибо, избрав веденье, он создаёт тот бесценный гормон социальной зрелости, без которого труд, распорядительство и управление обществом пришли бы в полное расстройство.

Миропостигающий всегда на виду. Поэтому ему не следует обманывать себя и делать вид, будто та или иная его уступка неведенью не изменит общего хода событий. Тысячи людей смотрят на него и надеются обрести в его мужестве опору для своего собственного выбора.

Недаром же после захвата политической власти неведение прежде всего требует изъявления покорности от ученых, художников, юристов, священнослужителей.

Избирающий веденье должен укреплять себя мыслью, что хотя сам он и его дело могут потерпеть поражение в жизненной борьбе, выбор его всегда окажется победителем. Пусть епископу Лас-Касасу не удалось спасти американских туземцев, священнику Шпее – уменьшить количество сжигаемых "ведьм", Радищеву – уничтожить крепостное право; но торжество выбора веденья меряется не результатами, а силой противостояния. Поэтому Томас Мор, покидая навсегда родной дом и отправляясь навстречу неизбежной гибели, имел полное право сказать: "Благодарю Господа... Благодарю Бога за одержанную победу" [20, т. 2, с. 132].

Но не только жертвенное противостояние силам неведения – порою сам факт открытого бытия избравшего веденье имеет немалую цену. Грановский не был ни героем, ни борцом, ни святым, ни мучеником. Но в те времена, "когда всё было прибито к земле, одна официальная низость громко говорила, литература была приостановлена и вместо науки преподавали теорию рабства... в то время, встречая Грановского на кафедре, становилось легче на душе. "Не всё еще погребло, если он продолжает свою речь", – думал каждый и свободнее дышал" [17, с. 277].

Больше же всего избирающий веденье должен уметь угадывать и отыскивать людей, близких ему по выбору, уметь быть солидарным с ними, уметь любить их вопреки разнице вкусов, привычек, мнений, взглядов, судеб, занятий. Ибо сказано же, что "дары различны, но Дух один и тот же; и служения различны, а Господь один и тот же... Но каждому даётся проявление Духа на пользу. Одному даётся Духом слово мудрости, другому слово знания тем же Духом; иному вера тем же Духом; иному дары исцеления тем же Духом; иному чудотворения, иному пророчества, иному различия духов, иному разные языки, иному истолкование языков... Служите же друг другу каждый тем даром, какой получил, как добрые домостроители многообразной благодати Божьей" [Послания апостолов Павла и Петра, 1 кор. 12.4-10; 1 Петра 4.10].

IV. "НА ЧТО Я МОГУ НАДЕЯТЬСЯ?"

Проблема выбора в учении экзистенциалистов

Хотя человек стоит перед выбором с того незапамятного момента, когда он впервые вкусил от древа познания добра и зла, философское сознание важности этого духовного акта началось сравнительно недавно.

Первым философом, воздавшем должное выбору, был Кьеркегор.

"Или-или, – пишет он, – звучит для меня подобно заклинанию, настраивает душу чрезвычайно серьезно, иногда даже потрясает её... Мое "или-или" означает, главным образом, не выбор между добром и злом, но акт выбора, благодаря которому выбираются или отвергаются добро и зло вместе" [42, с. 223, 237]. Он многократно подчёркивает, что выбор стоит особняком от прочих видов духовной деятельности, что это "не эстетическая, не этическая, не религиозно-догматическая категория" [43, с. 69] и уж тем более не продукт мышления, ибо "в процессе мышления я всецело подчиняюсь принципу необходимости, вследствие чего добро и зло становятся для меня как бы безразличными... Пока человек не выбрал себя, абсолютность различия между добром и злом скрыта от него" [42, с. 302]. Независимость выбора от природных дарований и образованности человека также отмечена Кьеркегором. "Даже наиболее богато одаренная личность ничто, пока она не совершит выбор; с другой стороны, даже по виду самая ничтожная личность – всё, если она делает этот выбор" [42, с. 248].

Иногда создается впечатление, будто Кьеркегор мыслит выбор не в виде процесса, а в виде некоего момента в человеческой судьбе, подобно религиозному обращению, разделяющему всю жизнь на "до" и "после". Но есть в его книгах и такие места, где акт выбора предстает растянутым во времени. "Личность склоняется в ту или другую сторону ещё раньше, чем выбор совершился фактически, и, если человек откладывает его, выбор этот делается сам собой под влиянием тёмных сил человеческой природы... Чем больше упущено времени, тем труднее становится выбор, так как душа всё более и более сродняется с одной из частей дилеммы и отрешиться от этой последней становится для нее все труднее и труднее" [42, с. 232]. Наконец, согласно Кьеркегору, выбор есть предельно возможное воплощение и реализация свободы воли. "Это сокровище скрыто в тебе самом, это – свобода воли, выбор "или-или"... Влечение к свободе заставляет человека выбрать себя самого и бороться за обладание выбранным, как за спасение души, – да в этом и есть его спасение души" [42, с. 238, 246].

Но спрашивается: если выбор это спасение, свобода, благо, почему же люди так медлят с выбором? чего они боятся? почему для выбора необходимо

Метаполитика. Ефимов Игорь Маркович filosoff.org
мужество, которого не всякому хватает?

На это Кьеркегор не отвечает. О том, что выбор может нести боль, терзание, может довести душу до отчаяния и краха, не говорится ни слова.

Потенциальная возможность трагедии, заключённая в акте выбора, выражена со всей полнотой в произведениях более позднего экзистенциализма, и особенно в экзистенциалистской литературе.

Душевная обнажённость, уязвимость и уязвлённость – вот главная черта всех героев Достоевского. Избирающие неведение будто и не интересуют его. Они, как дети, которые могут быть славными, вроде генеральши Епанчиной в "Идиоте", или зловредными, как отец Ферапонт в "Братьях Карамазовых", но одинаково остаются в стороне от главного действия драмы. Ирреальность мира Достоевского, его особое положение в русской и мировой литературе, может быть, тем и обусловлены, что он пишет только о ведающих. И уж он-то знает, что выбор веденья не одной только благостью наполняет душу: "...что развитой и порядочный человек не может быть тщеславен без неограниченной требовательности к себе самому и не презирая себя в иные минуты до ненависти" [26, т. 5, с. 125], что веденье может одинаково истерзать душу возвышенно-смирненную (князь Мышкин), возвышенно-гордую (Иван Карамазов), благородную (Митя Карамазов), порочную (Свидригайлов), низменно-тщеславную (герой "Записок из подполья"), низменно-преступную (Смердяков).

Когда Кьеркегор описывает безнадежно влюбленного, который, даже утратив всякую надежду на взаимность, не пытался заглушить свою любовь, но сделал её светочем всей жизни, это вызывает в нём восторг и умиление. "Великое дело – отказаться от своего желания, – восклицает он, – но остаться при своём желании, отказавшись от его исполнения, – дело еще более великое" [44, с. 19]. У Достоевского то же самое "великое дело" отказа от исполнения выражено без тени восхищения, отчаянным истерическим воплем: "Господи Боже, да какое мне дело до законов природы и арифметики, когда мне почему-нибудь эти законы и дважды два четыре не нравятся? Разумеется, я не пробью такой стены лбом, если в самом деле сил не будет пробить, но я и не примирюсь с ней потому только, что у меня каменная стена и у меня сил не хватает" [26, т. 5, с. 109]. Все уловки и ухищрения неведения конечно же известны Достоевскому, но он будто и представить себе не может, чтобы они могли защитить кого-то. Даже самое интеллектуально-изошрённое неведение, которым пытаются защищаться Раскольников и Иван Карамазов, оказывается в конце концов смято грозным сознанием совершённого преступления, греха.

В образной системе Кафки свобода выбора между веденьем и неведением тоже поначалу как будто отрицается. Начало процесса нравственного самообвинения, "арест", обрушивается на Иосифа К. как гром среди ясного неба. Правда, мельком потом говорится о том, что все, у кого есть процесс, прекрасны; но ни одна сцена романа не позволяет сказать, что они "избрали процесс". Нет, невидимый обвинитель указывает на того или иного человека по собственному произволу, и каким бы путём ни развивались дальше следствие и суд, они всегда приводят к неизбежному осуждению.

Свобода выбора неожиданно обнаруживается в другом – в том, как вести себя по отношению к процессу.

Художник объясняет Иосифу К., что он может избрать один из двух способов отяжки приговора: мнимое оправдание или волокиту. При мнимом оправдании авторитетные свидетели должны заявить о невинности обвиняемого, и судья низшей инстанции выписывает справку об освобождении. "Если посмотреть со стороны, то может показаться, что всё кончено, процесс забыт, акты погибли и освобождение получено полностью. Посвящённому, однако, известно, что ничто не пропадает – у суда нет забвения. В один прекрасный день, никто этого не ожидает, какой-то судья берёт этот процесс в свои руки, выясняет, что обвинение не утратило силы, и назначает арест" [35, с. 233]. И за этим повторным обвинением может последовать третье, четвёртое и так без конца.

Другой путь, "волоки", заключается в том, что процесс всё время задерживается в начальной стадии... Процесс длится, но именно поэтому обвиняемому не грозит приговор, и он как бы свободен. По сравнению с мнимым оправданием волокита тем выгодней, что обвиняемый избавлен от постоянной неуверенности. Ему не грозят аресты, не требуется максимального напряжения сил... Но процесс не может быть статичен, для замедления его нужны основания. Нужна видимость движения... Суть в том, чтобы время от времени, поскольку человек обвинен, являться к судье...

В обоих методах общим является то, что они стараются избавить обвиняемого от приговора.

Но не дают возможности настоящего оправдания, – очень тихо сказал К., как бы стыдясь высказать эту истину.

Именно так, – подтвердил художник" [35, с. 235, 237].

Таким образом, если допустить, что всякому человеку в сознательном возрасте знаком обвиняющий голос (если бы не был знаком, зачем бы люди с

Метаполитика. Ефимов Игорь Маркович filosoff.org
таким ожесточением отвергали его существование?), то выбор неведенья можно уподобить "мнимому оправданию", выбор веденья – "волоките", а невозможно достичь ни тем, ни другим путем интеллектуального, эстетического, нравственного совершенства или абсолютной святости – неизбежному приговору в конце. Однако роман в целом допускает и другое толкование, а именно: ведающие – это те, у кого есть процесс.

У Камю в "Падении" та же драма бесконечного самоосуждения представлена в более конкретных образах. "День за днем – женщины, день за днем – благородные речи и блуд, будничные, как у собак; но каждый день я был полон любви к себе и крепко стоял на ногах... Порывшись в своей памяти, я понял тогда, что скромность помогала мне блистать, смирение – побеждать, а благородство – угнетать" [27, с. 406, 425]. Повод для "ареста" тоже вполне реален: девушка бросилась с моста, а обвиняемый прошёл мимо. Но сам "процесс" развивается так же неумолимо, как у Кафки. "Весь вопрос в том, чтобы как-нибудь ускользнуть, да, главное – увернуться от суда. Я не говорю – ускользнуть от наказания. Наказание без суда можно перенести. У него есть название, гарантирующее нашу невиновность, – несчастье. Нет, речь идёт о том, чтобы избежать суда, избежать придирчивого судебного разбирательства, сразу его прервать, чтобы приговор никогда не был вынесен... Я вам сейчас открою большой секрет, дорогой мой. Не ждите Страшного суда. Он происходит каждый день" [27, с. 420, 440].

Однако, в отличие от Кафки, Камю знает и другую сторону выбора. Он знает, что от суда можно увернуться, и в "Чужом" создает образ полного торжества неведенья в человеческой душе. Броня этого неведенья позволяет герою романа, Мерсо, оставаться спокойным, ровным, бесчувственным в любой жизненной ситуации. Он остаётся внутренне безмятежным, отправляя мать в приют для престарелых, присутствуя на её похоронах, участвуя в грязноватых делишках своего приятеля, убивая араба, сидя в тюрьме, выслушивая свой смертный приговор. Ему непонятно, почему люди вокруг него так бурно реагируют на его поступки и на его отношение к ним. "Озлобление прокурора меня удивляло. Мне хотелось попытаться объяснить ему искренне, почти дружески, что я никогда ни в чём не раскаивался по-настоящему. Меня всегда поглощало лишь то, что должно было случиться сегодня или завтра" [28, с. 116]. Священнику, пришедшему его исповедовать, он пытается объяснить, что им не о чем разговаривать. "Мне только объявили, что я преступник. И, как преступник, я расплачиваюсь за своё преступление, а больше от меня требовать нечего..."

Вы ошибаетесь, сын мой, – сказал священник, – от вас можно потребовать больше. Может быть, с вас и потребуют.

А что именно?

Могут потребовать, чтобы вы увидели.

Что я должен увидеть?"

И вот здесь Мерсо взрывается – первый и последний раз в продолжение всего романа. "Я заорал во всё горло, стал оскорблять его, я требовал, чтобы он не смел за меня молиться. Я схватил его за ворот. В порыве негодования и злобной радости я изливал на него всё, что всколыхнулось на дне души моей... Я был прав, и сейчас я прав, и всегда был прав. Я жил так, а не иначе, хотя и мог бы жить иначе... Я словно жил в ожидании той минуты бледного рассвета, когда окажется, что я прав. Ничто, ничто не имело значения, и я хорошо знал почему... Из бездны моего будущего в течение всей моей нелепой жизни подымалось ко мне сквозь ещё не наставшие годы дыхание мрака, оно всё уравнивало на своем пути, всё доступное мне в моей жизни... Что мне смерть "наших близких", материнская любовь, что мне Бог, тот или иной образ жизни, который выбирают себе люди, судьбы, избранные ими, раз одна-единственная судьба должна была избрать меня самого... Я задышался, выкрикивая всё это" [28, с. 130].

С неожиданной энергией и ненавистью человек накануне смерти защищает самое дорогое, что у него было и остаётся в жизни, – своё право "не увидеть", непроницаемую пелену неведенья. И ему удается отстоять её, священник уходит ни с чем. Никакого земного возмездия в виде отчаяния и раскаяния, обещанного нам всеми великими моралистами, не наступает. "Как будто моё бурное негодование очистило меня от всякой злобы, изгнало надежду, и, взирая на это ночное небо, усеянное знаками и звездами, я в первый раз открыл свою душу ласковому равнодушию мира. Я постиг, как он подобен мне, братски подобен, понял, что я был счастлив и всё ещё могу назвать себя счастливым" [28, с. 131].

Счастье неведенья – вот что так боится потерять человек. Вот почему он медлит с выбором порой до последнего часа. И хотя жажда свободы постоянно толкает его к решительному шагу, он инстинктивно предчувствует, что ту свободу, предельным выражением которой является выбор веденья, "не уподобишь награде или знаку отличия, в честь которых пьют шампанское. О

Метаполитика. Ефимов Игорь Маркович filosoff.org
нет! Совсем наоборот, это повинность, изнурительный бег изо всех сил, и притом в одиночку. Ни шампанского, ни друзей, которые поднимают бокал, с нежностью глядя на тебя. Ты один в мрачном зале, один на скамье подсудимых перед судьями, и один должен отвечать перед самим собой или перед судом людским. В конце всякой свободы нас ждёт кара; вот почему свобода – тяжкая ноша, особенно когда у человека лихорадка, или когда у него тяжело на душе, или когда он никого не любит" [27, с. 452].

Выбор веденья страшит человека.

Чтобы решиться на него, нужно мужество.

И не случайно проблема мужества занимает так много места в философии экзистенциализма.

Ницше можно назвать скорее поэтом мужества, нежели философом. Весь "Заратустра" – настоящий гимн мужественному выбору веденья, полный поэтических преувеличений, жестоких крайностей и несообразных порывов, доводящих автора до того, что он уже готов не делать разницы между личной доблестью воина и безжалостностью привилегированного надсмотрщика. Большого внимания заслуживает негативная сторона его мироощущения, отражённая в других работах, его ненависть к неведенью, о котором он знает почти всё. Это ему принадлежит афоризм, заслуживающий стать эпиграфом к любой книге о неведенье: "'Я это сделал", – говорит моя память. "Я не мог этого сделать", – говорит моя гордость и остаётся непреклонной. В конце концов память уступает" [55, с. 117].

"Хайдеггер в своей книге "Бытие и время", занимающей независимое философское положение, что бы ни утверждал сам Хайдеггер, описывает мужество отчаяния в философски точных терминах. Он тщательно разрабатывает понятия небытия, конечности, тревоги, заботы, неизбежности смерти, вины, сознания, Я, участия и т. п. После этого он анализирует явление, названное им *Entschlossenheit* (решимость). Это слово символизирует отпирание того, что было заперто тревогой, подверженностью конформизму, самоизоляции" [71, с. 148]. То есть оказывается не чем иным, как "решимостью" отказаться от неведенья.

Последняя цитата взята из работы протестантского теолога и философа Пауля Тиллиха "Мужество быть". В ней автор подробно прослеживает видоизменения понятия "мужество" в истории мировой философии и даёт собственное истолкование его, замечательное по ясности и глубине.

Основной человеческого бытия, по Тиллиху, является потребность самоутверждения. (В терминах метаполитики – потребность сохранять и расширять царство "я-могу".) Угроза небытия вызывает в человеке тревогу. "Тревога есть такое состояние, в котором бытие оказывается осведомлённым о возможности небытия... Тревога и страх имеют один и тот же онтологический корень, но в действительности не являются одним и тем же... Страх, в отличие от тревоги, имеет определённый объект, который может быть обнаружен, проанализирован, который может быть атакован и побеждён... С тревогой всё обстоит иначе, ибо тревога не имеет объекта... Единственным объектом остаётся угроза как таковая, а не источник угрозы, потому что источником угрозы является небытие..."

Небытие угрожает онтическому самоутверждению человека в относительном смысле судьбой, в абсолютном – смертью.

Оно угрожает духовному самоутверждению человека в относительном смысле пустотой, в абсолютном – бессмысленностью.

Оно угрожает моральному самоутверждению человека в относительном смысле виной, в абсолютном – вечным осуждением" [71, с. 35, 40, 56–57].

Любой из трёх видов тревоги может довести человека до предельного состояния – отчаяния. Чтобы избежать отчаяния, чтобы противостоять ему, человеку необходимо мужество. Часто человек стремится конкретизировать источник тревоги, превратить её в страх перед отдельным объектом, ибо на преодоление страха нужно меньше мужества. Каждому знакомы ситуации, в которых люди, дрожавшие перед неизвестностью, вдруг обретали решимость и выдержку перед лицом конкретного врага.

"Вся жизнь человека может быть представлена как длительная попытка избежать отчаяния. И как правило, попытка эта удаётся. Крайние ситуации достигаются нечасто, а некоторые люди вообще не оказываются в них ни разу... Поэтому и тревога далеко не всегда приводит к отчаянию. Но редкие случаи, в которых отчаяние присутствует, помогают осветить существование в целом..."

Различие трёх видов тревоги находит своё отражение в истории западной цивилизации. Мы можем видеть, что в конце античной цивилизации доминирует онтическая тревога (судьбы и смерти), в конце средних веков – моральная (вины и осуждения), в конце нового периода – духовная (пустоты и бессмысленности). Но какой бы тип ни оказывался преобладающим, остальные при этом тоже присутствуют, и порой весьма эффективно...

В наше время... больше всего боятся утраты смысла существования. Выражением этой ситуации является сегодняшний экзистенциализм. В нём смысл жизни сведён до отчаяния по поводу смысла жизни. Но покуда это отчаяние является жизненным актом, оно позитивно в своей негативности" [71, с. 173-175].

Для тех же, кто не имеет мужества встретить отчаяние лицом к лицу, есть иной выход.

Человек, не имеющий мужества, "бежит от своей свободы задавать самому себе вопросы и отвечать на них в такую сферу, где вопросы задавать не положено, а ответы на прежние вопросы ему навязываются извне... Ради того, чтобы избежать риска вопросов и сомнений, человек уступает своё право спрашивать и сомневаться... Он избавляется от собственной свободы ради того, чтобы избавиться от тревоги бессмысленности. Теперь он больше не одинок, он выбрался из экзистенциального сомнения, из отчаяния. Он "участвует" и утверждает посредством участия содержание своей духовной жизни.

Смысл спасён, но Я принесено в жертву. Причём принесено с фанатической агрессивностью. Фанатизм - характерная черта духовной капитуляции: он отражает тревогу, которую следовало победить, атакуя с непропорциональной яростью тех, кто не согласен, кто приоткрывает своим несогласием те стороны духовной жизни фанатика, которые он должен подавить в себе. Подавляя их в себе, он должен подавлять их и в других. Его тревога вынуждает его преследовать диссидентов" [71, с. 49-50].

Такой способ преодоления тревоги (метаполитика сразу опознает в нём выбор неведенья) Тиллих называет "коллективистским мужеством быть частицей".

"Тревога сомнения и бессмысленности поглощается неокolleктивистским мужеством... Смысл жизни есть коллектив. Даже те, кто оказывается жертвами террора, не сомневаются в прочности принципов. То, что случилось с ними, это дело судьбы и смерти". [71, с. 101] Но коллектив (Мы) помогает справиться и с этой тревогой. Ибо он "заменяет человеку индивидуальное бессмертие... жертвуя для него жизнью, он приобщается к жизни группы и через неё - к жизни универсума... Тревога судьбы и смерти поглощается мужеством быть частицей" [71, с. 100].

Изучив столь глубоко и полно все оттенки, приёмы и ухищрения неведенья, его спасительную силу, показав бездну отчаяния, на край которой может привести человека выбор веденья, Тиллих, однако, не склонен открыто признать свободы выбора между "быть собой" и "быть частицей", между веденьем и неведеньем. Он позволяет себе количественные характеристики мужества - больше, меньше, - признаёт, что индивидуальное мужество выше коллективистского, но вообще-то считает, что "сила самоутверждения вопреки (наличию небытия), то есть мужество быть, является делом (даром) судьбы... Им нельзя распоряжаться и его невозможно добыть, повинуюсь распоряжениям. Выражаясь на языке религии, мужество - это благодать" [71, с. 84].

Всё содержание книги противоречит такому определению. В сущности, это определение отрицает свободу воли и создаёт теолого-детерминистскую модель: мужество закладывается в человека высшей силой, как топливо в ракету, и воспарить в духовной сфере ему удаётся ровно настолько, насколько хватит запаса "топлива".

Возможно, это недоразумение происходит от терминологического смещения. Ибо нельзя продолжать называть мужеством то, что в другом месте названо "духовной капитуляцией". Бегство, при котором в жертву приносится либо "я", растворяющееся без остатка в коллективе, либо мир, остающийся за стенами, воздвиг-нутыми вокруг себя "я" романтическим или невротическим, тоже не заслуживает названия мужества. Нельзя исходя из того, что человек живёт, не зная тревоги, утверждать, что у него есть мужество - такое, или другое, или третье. Нельзя отождествлять мужество с инстинктом самосохранения.

Мужество может проявиться лишь в том, что человек свободно выбирает открытость перед лицом тревоги, что он решается утверждать свое бытие вопреки доподлинной осведомленности об угрозе небытия онтологического, духовного, морального. Величие этого акта неразрывно связано с серьёзностью опасности, ибо тревога может довести избирающего веденье до полного отчаяния, до духовного краха и физического самоуничтожения, до самоубийства, - мы знаем тому немало примеров. Но уж если избирающему веденье после всех искушений и ужасов, после "страха и трепета" даруется преодолеть отчаяние, если в последний момент ангел останавливает руку, занёсшую нож над единственным сыном, если спустившемуся в ад возвращают Эвридику, если голос неба отвечает зывающему из праха Иову, то такое чудо ничем другим, кроме "благодати Божьей", объяснено быть действительно не может.

Чем дальше человек устремляется по пути веденья, тем грознее открывается перед ним неумолимость небытия, тем меньше у него шансов спастись от отчаяния своими силами. На предельных степенях веденья спасти может только вера – об этом свидетельствуют и те, кто обрел её, и те, кто остался лицом к лицу с отчаянием. "Выбирая абсолют, я выбираю отчаяние, – пишет Кьеркегор. – Я хорошо знаю, что, хотя и смело иду навстречу великим бедам и ужасам жизни, всё же мужество моё не есть мужество веры и никакого сравнения с нею не выдерживает. Я не способен к духовному акту веры, не могу, закрыв глаза, слепо ринуться в абсурд, – для меня это невозможно, но я не хвалюсь этим" [42, 44, с. 292, 30]. "Не толкай меня к потерянному! – восклицает Кафка. – Тому, кто живой не может справиться с жизнью, одна рука нужна для того, чтобы отводить немного в сторону отчаяние по поводу своей судьбы, – это делается очень неискусно, – другой же рукой он может записывать то, что видит под развалинами, ибо он видит по-другому и больше, чем другие, он ведь мёртв при жизни и всё же остался в живых" [34]. Один из героев Камю в тоске задаёт себе и окружающим один и тот же вопрос: "Можно ли стать святым, не веря в Бога?" [29, с. 335].

Но и те, кто обрел в конце концов веру, описывают полосы ужасного отчаяния, через которые они проходили на пути к ней. "И возненавидел я жизнь, – говорит Екклезиаст, – потому что противны стали мне дела, которые делаются под солнцем; ибо всё – суета и томление духа" (Еккл. 2:17). Иов, раздавленный несчастьями, хулящий произвол Бога, грозит ему самым ужасным – полным отпадением, возвратом к неведению: "Не хочу знать души моей, презираю жизнь мою" [Иов, 9:21]. Отчаяние Лютера, пока он пытался в монастыре спасти душу постом и покаянием (то есть своими силами), чуть не убило его. "Я скажу вам про себя, – пишет Достоевский в одном письме 1854 года, – что я – дитя века, дитя неверия и сомнений до сих пор и даже (я знаю это) до гробовой крышки. Каких страшных мучений стоила мне и стоит теперь эта жажда верить, которая тем сильнее во мне, чем более во мне доводов противных". К Толстому накануне его обращения тревога пустоты и бессмысленности придвинулась вплотную в образе бесконечного, выжигающего самовопрошания: "А дальше что?" [73, т. 13, с. 17].

Религиозный смысл выбора между веденьем и неведеньем не только засвидетельствован многими людьми, жаждавшими веры, но многократно отражён в самих текстах Писания. "А что вам говорю, говорю всем: бодрствуйте" [Марк. 1:37]. "Итак бодрствуйте, потому что не знаете ни дня, ни часа, в который придет Сын Человеческий" [Матф., 25:13]. "Да будут чресла ваши препоясаны и светильники горящи" [Лука, 12:35]. В притче о талантах, оставленных хозяином слугам своим, показаны одновременно и неравенство даруемых людям духовных сил, и отсутствие ясного повеления о том, как ими следует распорядиться, и свобода выбора – пускать или не пускать их в дело, и Божий гнев на того, кто зарыл талант в землю, и страх зарывшего потерять в жизненной борьбе то, что было дано, и встретиться с отчаянием вины, ибо: "Господин! Я знал тебя, что ты человек жестокий: жнёшь, где не сеял, и собираешь, где не рассыпал" [Матф., 25:24].

В свете положений метаполитики религиозный аспект выбора веденья раскрывается ещё с одной стороны. Ибо, устанавливая прямую связь между выбором "я" и созданием социума – "мы", метаполитика проясняет тем самым способ и степень участия "я" в строительстве мира или, по крайней мере, в той его части, которую Тейяр де Шарден именуется "ноосферой" [70]. Избирая веденье, "я" заведомо становится причастным миростроительству, и это помогает ему справиться с тревогой пустоты и бессмысленности.

Смыслом индивидуального бытия становится соучастие в божественном мирозидании.

Однако, свободно выбирая веденье и с ним – соучастие, обретая смысл, ведающий одновременно принимает на свои плечи и огромный груз ответственности за миростроительство. Он становится ответственным за несовершенство мира, и с этого момента к нему вместо преодоленной тревоги пустоты и бессмысленности снова, как и в Средние века, вплотную приближается тревога вины и осуждения. Для него фраза: "Грехи отцов падут на детей" – перестаёт быть туманной угрозой, но превращается в твёрдое знание о том, что грех допущенного им неведенья падёт на головы его потомков общим разорением государства, разрухой, голодом, нищетой, террором. Он не на словах, а на деле, болью сердца начинает сознавать себя виновным и ответственным за концлагеря и пытки, за потоки крови и слёз, за ложь и клевету, за погибшие урожаи и разбившиеся самолёты, за несправедливо осуждённых и незаслуженно возвышенных, за города, погружающиеся под воду, за истребление лесов, за океаны, покрываемые нефтью, за атомные взрывы, за всякую мелкую подлость, случившуюся поблизости, и крупную резню,

Метаполитика. Ефимов Игорь Маркович filosoff.org
начавшуюся вдалеке.

Метаполитика не может ничем помочь человеку в преодолении тревоги вины и осуждения. Эта помощь может прийти только из сферы религии. Не той религии, которая в жажде увеличения численности паствы идёт навстречу требованиям неведенья, но той, которая понимает серьёзность своей задачи и готова разделить с ведающим его сомнения, страхи, его боль и ответственность. Единственное, чем метаполитика может укрепить мужество избирающего веденье, сводится к повторению той истины, что недостижение им поставленной перед собой цели, разрушение построенного им в жизни, гибель начинаний ещё не означают его личного поражения.

Ибо миростроительство, осуществляемое выбором веденья, не похоже на строительство дома.

Дом начинают и заканчивают, он может быть построен к определённом времени, можно запоздать с его окончанием, он может вообще не состояться. Миростроительство не состояться не может. Оно происходит непрерывно и бесконечно в каждой точке времени-пространства. Поэтому если какой-то народ в течение нескольких веков существовал, создавая материальные и духовные ценности, охраняя обширные "я-могу" своих граждан, расширяя сферу миропостижения, то, пусть впоследствии он даже исчез с лица земли, мы можем считать, что на своём отрезке времени-пространства он сумел осуществить предназначавшуюся ему часть Великого Замысла. И если группа людей в течение нескольких десятилетий своими усилиями держалась высокого уровня знаний, веры, искусности, то, пусть даже очередная волна неведенья смыла их без следа, эти несколько десятилетий будут светить в мироздании особым светом, как витраж в соборе. И если даже один человек прожил незаметную жизнь, не поступившись, однако, сознанием своей свободы и своего предназначения, он может надеяться на оправдание, на то, что существование его не будет отвергнуто, но ляжет прочным камнем в стены, возводимые Строителем мира.

Спасибо, что скачали книгу в бесплатной электронной библиотеке

<http://filosoff.org/> Приятного чтения!

<http://buckshee.petimer.ru/> Форум Бакши buckshee. Спорт, авто, финансы, недвижимость. Здоровый образ жизни.

<http://petimer.ru/> Интернет магазин, сайт Интернет магазин одежды Интернет магазин обуви Интернет магазин

<http://worksites.ru/> Разработка интернет магазинов. Создание корпоративных сайтов. Интеграция, Хостинг.

<http://dostoevskiyfyodor.ru/> Приятного чтения!